АЛЕКС БЛЭК

НЕВОД

ПОДПОЛЬЕ



18+

Алекс Блэк

Невод. Подполье

«Автор»
2026

Блэк А.

Невод. Подполье / А. Блэк — «Автор», 2026

Дэйв дошёл до Горловины — жильной столицы равнин, где корпорация сортирует людей перед отправкой наверх: «годных», «негодных» и «на стол». Здесь его не ловят — его пропускают и ждут. Под городом прячется подполье меченых, над колодцами поёт культ, которому нужно от Дэйва одно слово — «да», а в гладком сером здании вежливый человек в очках знает о нём больше, чем он сам. Чтобы вывезти своих и найти увезённого Тихоню, Дэйву придётся расти быстрее, чем позволяет зов, спуститься к самому Горлу и узнать, почему Система говорит с ним не так, как со всеми. Третья книга цикла «Невод» — о подполье, о цене чужого «да» и о грузе, который впервые сам знает, куда едет.

© Блэк А., 2026
© Автор, 2026

Алекс Блэк
Невод. Подполье

Алекс Блэк
Подполье
«Невод»
Книга третья
Книга создана автором в соавторстве с искусственным интеллектом и существенно переработана.

Глава 1. Горловина

В рекламе всё было красиво.

Я увидел её снова — через столько декад, через лес, артель, Развал и Котёл — на воротах Горловины. Не на билборде у проходной, а на тёсаных воротных створах в три человеческих роста, выбеленных, чтобы было видно издали, с равнины, со всех дорог, что сходились сюда из дюжины садков. Та же девушка в белом комбинезоне. Те же ровные купола, зелёные поля и лазурное небо, какого на Эпсилоне не бывает. И те же слова — крупно, по дуге, буквами в локоть: «Новый Горизонт. Новая жизнь с чистого листа».

Я стоял в очереди к этим воротам и смотрел на неё, как смотрят на старую знакомую, которая когда-то обобрала тебя до нитки, а теперь как ни в чём не бывало улыбается с того берега. Здесь она, оказывается, тоже работала. Звала. Только уже не с Земли — отсюда, из самого гнезда: тех, кто выжил в решете и дотащился до большой фактории. Иди к нам, в чистые сектора, под крышу, под порядок. С чистого листа. Опять.

— Не пялься, — сказала Блесна, не поворачивая головы. — На неё все пялятся, кто первый раз. По этому и отличают.

— Я не первый раз, — сказал я. — Я её уже покупал.

Она хмыкнула, но не улыбнулась. Она вообще не улыбалась с самой гряды — с той минуты, как мы начали спускаться в котловину и снизу пахнуло дымом сотен горнов, гарью, жилой и чем-то кислым, застоявшимся, человеческим. Я заметил, как она подобралась тогда, будто её окликнули по имени. Спрашивать не стал. Захочет — скажет.

С гряды Горловина казалась муравейником. Вблизи она оказалась складом.

Я двадцать лет таскал чужие грузы. Я знаю, как выглядит узел. Не по вывескам — по тому, как он дышит. Горловина дышала, как дышит большой распределительный центр в пятницу вечером: тяжело, ровно и без передышки. Со всех сторон к ней ползли обозы — по три, по пять телег, гружённых бочонками, мешками, ящиками с клеймами садков. Над валом, над всеми тремя его кольцами, поднимались горны — не дюжина, как на Развале, а сотни, и марево от них стояло такое, что зеленоватый свет Эпсилона над городом казался грязно-жёлтым, больным. За вторым кольцом, на пустырях, стояли корабли. Не два. Я насчитал девять, пока очередь ползла к воротам, и бросил считать. Между пустырями и складами туда-сюда сновали тачки, волокуши, вереницы носильщиков с коробами за спиной — чистая логистика, которую я узнал бы с закрытыми глазами, по одному ритму. Жила стекалась сюда со всей округи, как вода в воронку, — и уходила наверх. На корабли. К перевалочным. К тем, кто сверху.

Узел. Горловина. Название было честное — честнее рекламы на воротах. Горлышко бутылки, через которое проходит всё.

Ближе к центру, за третьим валом, поднималось единственное в городе здание, сложенное не из тёса и не из сырца, а из чего-то гладкого, серого, без швов, — как фабричная броня, только размером с холм. Контора чистых. Над ней не было марева. Горны туда не дотягивались.

А между горнами и складами, в самом городе, торчали вышки. Я сперва принял их за сторожевые, потом пригляделся. Не вышки — копры. Деревянные, высокие, обвешанные цепями и блоками, с огромными колёсами наверху, а под каждым — тёмный провал в земле, откуда цепи тянули что-то тяжёлое, светящееся. Колодцы. Здесь не ждали, пока жила выступит из коры или выйдет из твари. Здесь её качали — прямо из-под ног, из тонкой корки, под которой лежало море.

— Блесна, — сказал я тихо. — Под городом…

— Знаю, — сказала она. — Потому город тут и стоит. Потому и Горловина.

[Невод] Корка тонкая, Дэйв. Тоньше, чем у Котла. Город стоит на ней, как люди стоят на льду над омутом, — и сверлит во льду дырки, чтобы черпать. Я тебе это скажу один раз, потом при людях буду молчать: внизу он близко. Ближе, чем где-либо, куда ты ходил.

Я не ответил. Я и сам уже слышал — не ушами, костями. Где-то глубоко, под шумом очереди, под скрипом телег и гулом горнов, земля едва заметно гудела. Ровно, низко, как трансформаторная будка за стеной, к которой привыкаешь и перестаёшь замечать. Только к этому гулу я привыкать не собирался.

Очередь у ворот двигалась медленно, и я успел разглядеть порядок. Порядок тут был — куда строже развальского. У ворот стоял не Мятый со своей засаленной книгой, а целая будка: трое писарей за длинным столом, весы, при весах двое чистых в фабричной броне, ещё четверо — на воротах, с оружием поперёк груди. Каждого, кто входил, спрашивали: кличка, откуда, с чем, к кому. Каждому перетряхивали поклажу. С каждого брали пошлину — жилой, на весах, при всех. Кого-то отводили в сторону и говорили с ним дольше. Одного, тощего, с бегающими глазами, вывели из очереди совсем и повели куда-то вдоль вала, и он не сопротивлялся. Тут, видно, уже никто не сопротивлялся.

Мы с Блесной сговорились ещё на гряде. Я — Подвес, мастеровой с Развала, иду к маклеру Мерзляку с письмом от Весовщика; она — моя баба, очистница. Почти правда, а почти правда держится лучше любой выдумки. Плевок я обмотал тряпьём, фабричное железо и броню мы ещё ночью зарыли в овраге за последней грядой, под приметным камнем — на Развале такое железо было знаменем, а здесь, у ворот, под взглядами чистых, стало бы приговором. Нож Первого остался на поясе: нож и нож, мало ли у кого. Наследство мертвецов я держал в сумке, под рубахой, у самого тела.

Я ждал, что нас будут спрашивать. Я ждал, что будут перетряхивать, взвешивать, разглядывать. Я ждал, что на мне задержатся — на моём лице, на руках, на том, как я стою, — и готовил то самое лицо, пустое, списанное, лицо худшего дня, которое уже однажды провело меня через перепись.

Оно не понадобилось.

Когда подошла наша очередь, старший писарь поднял на меня глаза — скучные, водянистые, привыкшие к тысячам таких же, — и вдруг на долю мгновения задержал взгляд не на мне, а у меня за плечом. Где-то на стене, на валу, над воротами. Я не обернулся. Я видел только, как в этих скучных глазах что-то коротко щёлкнуло, как щёлкает в голове у кладовщика, когда он находит в списке нужную строчку.

— Проходи, — сказал писарь.

Я не понял.

— Проходи, говорю. — Он уже смотрел мимо, на следующего. — Не задерживай.

Ни клички. Ни «откуда». Ни весов. Ни пошлины. Чистые у весов даже не повернули шлемов.

Мужик за нами — грузный, с двумя мешками на горбу, весь в дорожной пыли — возмутился:

— А с них чего не берёшь? Я, значит, плати, а эти…

Договорить он не успел. Один из чистых, не меняя позы, коротко двинул его прикладом под рёбра, и мужик сложился над своими мешками, хватая ртом воздух. Очередь притихла. Писарь даже не поднял головы.

Блесна взяла меня под руку — жёстко, впившись пальцами, — и мы прошли под белой девушкой с её чистым листом. Внутрь. Без вопросов. Как свои.

За воротами я выдержал шагов двадцать. Потом остановился у стены, будто поправить ремень, и спросил одними губами:

— Видела?

— Видела, — сказала Блесна так же беззвучно. Лицо у неё было белое. — Так не бывает. Тут с родной матери пошлину берут. Тут за вход в посад писари друг друга режут — место хлебное. А нас — «проходи».

Я знал, почему. Мне не надо было гадать. Невод сказал мне это на гряде — тихо, почти человеческим голосом, и с тех пор эти слова сидели во мне занозой: тебя не ловят, Дэйв. Тебя ведут. Отпустили нарочно. Пропускают вверх по лестнице.

Я думал, что понял тогда, что это значит. Не понял. Понимать начал только сейчас, у ворот. Засаду я бы пережил. К засаде я привык: лес, Пластуны, «Острога», Корф — меня всю жизнь здесь пытались поймать, и я научился уходить. А тут меня никто не ловил. Меня *пропускали*. Двери открывались передо мной сами, препятствия убирались с дороги прежде, чем я до них доходил, и где-то невидимый человек, которого я никогда не видел, заранее вписал мою строку в нужный список, чтобы скучный писарь у ворот махнул рукой: проходи.

Расчищенная дорога. Знаете, что страшнее засады? Расчищенная дорога. Потому что засаду ставят там, где ты можешь пройти. А дорогу расчищают туда, куда тебе велено прийти.

По ремеслу я понимал это лучше, чем хотел бы. Груз с оплаченной накладной на воротах не досматривают. Его пропускают. Чтобы довёз.

— Ну что, — сказала Блесна, глядя на меня снизу, и в её светлых глазах страх уже переплавлялся в злость, как всегда у неё. — Довезём, подвес?

— Довезём, — сказал я. — Только адрес я выберу сам.

Мы пошли вглубь.

Горловина изнутри была ещё больше и ещё теснее, чем казалась с гряды. Улицы — не улицы, а проходы между складами, навесами, мастерскими, лавками, ночлежками, — кривые, забитые людьми, тачками, грязью, дымом. Кричали зазывалы, звенели молоты, скрипели колёса копров. Пахло жильной гарью, потом, похлёбкой, нечистотами. Мимо проносили на носилках что-то, укрытое мешковиной, и из-под мешковины свешивалась светящаяся тварья лапа, а носильщики орали «посторонись!» и не глядели, кого сшибают. Никто здесь ни на кого не смотрел. Это меня сперва обрадовало, а потом насторожило: в городе, где никто ни на кого не смотрит, очень удобно смотреть самому.

Я пробовал. Я честно пробовал вычислить хвост — так, как учила меня Блесна ещё на Развале: остановиться у лавки, глянуть в мутное стекло, свернуть дважды налево, задержаться на перекрёстке, проверить, кто тормозит вместе с тобой. Никто. Ни одного лица, мелькнувшего дважды. Ни одного зеваки, слишком долго разглядывающего горшки. За нами никто не шёл.

И это было хуже, чем если бы шёл.

У одного из копров толпился народ, и я, по старой привычке рукастого мужика, которого тянет ко всякому механизму, протолкался поближе. Колесо наверху медленно вращалось, цепь уходила вниз, в чёрный, обложенный брёвнами провал, и из провала ровно, тяжело тянуло тем самым гулом, который я слышал костями ещё у ворот. Рядом с копром стоял столб, а на столбе — доска, вся в приколотых лоскутах с кривыми строчками. Я пригляделся.

«Колодец Третий Кривой. Тварь из глуби, ночная, одна. Уровень 18. Кто снимет — двадцать мер жилы чистой. Спросить старшину копра».

«Колодец Новый Бондарев. Стая, мелочь, до тринадцатого. Плата по головам».

«Колодец Седьмой. Не ходить. Двое не вернулись. Плата — сколько скажешь».

Я стоял перед этой доской, как стоял когда-то перед доской объявлений на бирже труда — только там на меня с каждого листка смотрело одно и то же «не требуется», а тут каждый лоскут кричал: требуется. Требуется тот, кто спустится в провал и снимет то, что поднимается из глуби. Требуется рука, которая не дрогнет. Требуется уровень.

— Даже не думай, — сказала Блесна у меня над ухом.

— Я ещё ничего не сказал.

— У тебя на лице всё написано, подвес. Крупно, по складам, для слабовидящих.

— Там растут, — сказал я тихо. — Понимаешь? Не по капле, не таясь, а по-настоящему. Там жила, там твари, там опыт.

— Там зов, — сказала она. — Ты сам слышишь, как гудит. — Она помолчала. — Потом. Сначала — крыша. Сначала надо понять, куда нас пропустили.

Крышу она нашла сама. Свернула в проход, потом в другой, потом в третий, всё уже, грязнее, ниже, — и я понял, что она не ищет. Она *знает*. Её ноги помнили эти повороты, как мои руки помнили узлы на грузовой стяжке. На одном углу она остановилась — у облезлой стены с намалёванным когда-то рыжим петухом, от которого остались один хвост и полглаза, — и постояла молча, всего мгновение. Потом толкнула низкую дверь.

Ночлежка была как ночлежка: тёмный зал, лавки вдоль стен, очаг, вонь мокрой шерсти и дешёвой браги. За стойкой сидела бабка — толстая, рыхлая, с маленькими цепкими глазками, — и при виде Блесны эти глазки чуть расширились.

— Угол на двоих, — сказала Блесна. — На ночь. Может, на две.

Бабка не ответила. Она смотрела на Блесну, потом на меня, потом опять на Блесну — и вдруг полезла под стойку, достала оттуда грязный лоскут, развернула, сверилась с ним, шевеля губами, и подняла глаза.

— Комната, — сказала она. — Не угол. Наверху, с дверью, с засовом. Уплачено.

— Кем? — спросил я. Голос у меня вышел ровный. Я сам удивился.

— Человек приходил. Вчера ещё. — Бабка пожала жирными плечами. — Вежливый. Чистый. Сказал — придут двое: мужик при плевке и баба с битыми пальцами. Велел пустить наверх и денег не брать. Уплачено за декаду вперёд. — Она снова пожала плечами, будто стряхивая с себя то, что сама же сказала. — Мне что. Мне уплачено.

Я посмотрел на Блесну.

Она стояла, опустив руки, и смотрела на свои пальцы — кривые, сломанные когда-то, неправильно сросшиеся, которыми она чистила жилу тоньше всех, кого я знал. Она никогда не рассказывала мне, кто и когда их сломал. А вежливый человек, которого мы никогда не видели, знал про них. Знал, что мы придём именно сюда — в эту ночлежку, под этого полуслепого петуха, в один из тысячи углов этого огромного города. Знал раньше, чем знали мы сами.

— Сюда я ходила девчонкой, — сказала Блесна тихо, не поднимая глаз. — Про это место знала только я. И ещё одна старуха. Которой давно пора бы помереть.

Мы поднялись наверх. Комната и правда была с дверью, с засовом, с узким окном на крыши. Чистая. Слишком чистая для этой ночлежки — кто-то вымел её к нашему приходу. На столе стоял кувшин воды и лежал хлеб.

Я задвинул засов, хотя понимал, что засов здесь ни от кого не защитит. Сел на топчан. Блесна встала у окна, спиной ко мне, и смотрела на крыши, на копры, на марево над горнами. Долго.

Я не стал её трогать. Я сделал то, что делал всегда, когда мир вокруг вставал на дыбы: пересчитал себя. По-экспедиторски — что в кузове, сколько, в каком состоянии.

[Невод] Уровень 16. Нераспределённого: 3.

[Невод] Навыки: «Из подручного хлама» — 3. «Ровно сколько надо» — 1.

Шестнадцатый. Три очка в заначке — привычка скупца. Ещё на гряде над Горловиной я решил: хватит. Прятать больше нечего. Моё имя лежит в Корфовом докладе красной строкой, меня ведут, мне расчищают дорогу, мне вперёд оплачивают комнату. Серым мне уже не стать, сколько ни прикидывайся. А раз так — расти. Открыто. Быстро. Колодцы за окном гудели, как ульи, и каждый звал: спустись, сними, стань сильнее.

[Невод] Только запомни одно, Дэйв, раз уж мы одни. — Голос был тихий, без привычной насмешки. — Чем выше ты поднимаешься, тем ближе ты к нему. Я тебе говорил это про лестницу. Это правда и про уровни. Жила, которую ты в себя берёшь, — это его жила. Каждый уровень — ещё одна нить между тобой и тем, кто внизу. На равнине он дотягивался до тебя раз в несколько ночей. Здесь, над тонкой коркой, с каждым твоим новым уровнем он будет дотягиваться легче. Расти — надо. Я не спорю. Но каждый раз, когда ты станешь сильнее, он станет громче.

— Значит, буду громче отвечать, — сказал я вслух.

Блесна обернулась от окна.

— Что он?

— Говорит, растить себя тут — всё равно что лезть в колодец по цепи, которую держит тот, внизу. Чем выше лезешь, тем крепче он держит.

Она подумала. Потом подошла, села рядом на топчан — тяжело, устало, — и прислонилась плечом.

— А ты лезь, — сказала она. — Только цепь держи сам. Как в Котле. — Помолчала и добавила, глядя в пол: — Это Сова. Старуха. Про это место знала только она. Она меня тут подобрала, когда мне было семь. Учила воровать, кормила, била. Пальцы — тоже она. Когда я ушла. — Она сжала кривые пальцы в кулак. — Если вежливый человек знает про эту ночлежку, значит, он знает Сову. Значит, его люди уже внизу, в посаде. В моём посаде, подвес.

Я обнял её за плечи и ничего не сказал. Сказать было нечего.

За окном догорал мутный день. Над крышами медленно вращались колёса копров, цепи уходили в чёрные провалы, и из каждого провала, из-под всего этого огромного, шумного, пересчитанного города ровно и низко гудела тонкая корка мира. Где-то наверху, в гладком сером здании без швов, вежливый человек вписывал нас в свои списки. Где-то внизу, под коркой, тот, кто считает всё живое, ждал, когда я подрасту и стану к нему ближе.

Нас ждали. Сверху и снизу. Нам даже оплатили комнату.

Так встречают не беглецов. Так встречают дорогих гостей. Или скотину, которую ведут на убой, — ласково, чтоб не упиралась.

Глава 2. Хвост

Проверять хвост Блесна учила меня так же, как учила вязать силки: молча, на деле, с подзатыльником за каждую ошибку.

— Хвост не ищут, — сказала она утром, когда мы спустились из нашей оплаченной комнаты в тёмный зал и бабка за стойкой проводила нас глазами-бусинками. — Хвост заставляют показаться. Ищешь — значит, оглядываешься. Оглядываешься — значит, знаешь, что за тобой идут. А знать ты не должен. Ты должен быть дурак, которому всё равно. Понял?

— Понял.

— Ни хрена ты не понял. Смотри и делай как я.

План у неё был простой и злой, как всё, что она придумывала. Мы расходимся. Она уходит вниз, в Нижний посад, в свои старые норы, где каждый закоулок знает с семи лет. Я иду на Жильный двор, искать Мерзляка с письмом Весовщика. По дороге каждый из нас проходит через «вертушку» — так она это назвала: место, где хвосту негде спрятаться. А вечером сходимся и сверяем, кто кого видел.

— Если за нами идут, — сказала она, — то идут за обоими. Двоих водить — вдвое больше людей. Где-нибудь да мелькнёт лишнее лицо.

Её «вертушку» для меня я запомнил на всю жизнь. Сначала — Рыбий ряд, где торгуют сушёной тварятиной: узкий, длинный, с одним входом и одним выходом, без боковых щелей, — кто вошёл за тобой, тот и выйдет за тобой, другой дороги нет. Потом — прачечная на углу Кожевенной, где из открытых чанов валит такой пар, что в двух шагах не видно человека; войти в пар с одной стороны, выйти с другой и сразу встать за угол — хвост, потеряв тебя в пару, обязательно ускорится, и ты его увидишь. Потом — сквозной двор с тремя выходами, где надо постоять у колодца с вёдрами и посмотреть, кто ещё в этот двор свернёт.

Я прошёл всё. Честно, по науке, как дурак, которому всё равно. В Рыбьем ряду за мной вошли две бабы с корзинами и мальчишка с тачкой — бабы застряли у первого прилавка, мальчишка свернул в лавку. В прачечной я постоял за углом столько, что заныла шея; из пара вышли трое прачек и одна собака. В сквозном дворе у колодца я наполнил чужое ведро, выпил чужой воды и простоял, пока хозяйка ведра не начала на меня орать. Никто не свернул во двор вслед за мной. Никто не ускорил шаг. Ни одно лицо не мелькнуло дважды.

Хвоста не было.

Я дошёл до Жильного двора в таком злом, пустом, звенящем недоумении, какое бывает, когда ждёшь удара, а его всё нет. Потому что зато было другое. То, чего я не искал и не мог объяснить.

В Рыбьем ряду, когда я протискивался к выходу, толпа передо мной вдруг разошлась — совсем чуть-чуть, на полплеча, будто кто-то впереди невзначай посторонился, а за ним ещё один, — и я прошёл, не задев ни одной корзины. В переулке за прачечной, где обычно стоял затор из телег, затора не было: одна телега, перегородившая было проход, как раз отъезжала, и возница, не глядя на меня, хлестнул лошадь. У ворот Жильного двора, где, как я понял, люди часами ждали, чтобы их пустили внутрь к маклерам, сторож — квадратный, с дубиной — оглядел меня и сказал прежде, чем я раскрыл рот:

— К Мерзляку, что ли? С письмом? Проходи. Ждут.

Ждут.

Я прошёл. Я не спросил, кто ждёт и откуда сторож знает про письмо, которое лежало у меня за пазухой, свёрнутое, запечатанное весовщицкой печатью, и которого никто, кроме меня, не видел. Я просто прошёл, как проходил вчера под белой девушкой на воротах, и чувствовал, как у меня между лопаток медленно стекает холодный пот.

[Невод] Ты всё ищешь людей, которые за тобой идут. — Строчка мелькнула коротко, сухо, когда я остался в проходе один. — А за тобой не идут, Дэйв. Перед тобой убирают. Это разное ремесло. Хвост можно сбросить. Как сбросить коридор, в котором заперли все двери, кроме одной?

Я не ответил. Мимо уже шли люди.

Жильный двор оказался тем, чем я его и представлял с гряды, — только в десять раз больше. Огромная площадь, обнесённая собственным валом внутри города, а на площади — склады, весовые, навесы, конторки маклеров, пандусы для телег и целые улицы бочек, уложенных штабелями в человеческий рост. Каждая бочка — с клеймом: выжженный знак садка, откуда пришла жила, и цифры — вес, чистота, дата. Сюда, к весовым, со всех ворот тянулись обозы. Здесь жилу принимали, взвешивали, проверяли на чистоту, сортировали, переливали, переупаковывали, складывали — и отправляли дальше, на пустыри, к кораблям. Между складами бегали учётчики с дощечками, орали старшины, скрипели блоки, по которым поднимали бочки на помосты. Я встал посреди этого гула и вдохнул его, как вдыхают запах родного дома.

Склад. Самый настоящий склад. С приходом и расходом, с накладными, с пересортом и недостачей, с вечной беготнёй и вечной путаницей. Я двадцать лет прожил в таком гуле. Только там вместо жилы были коробки с бытовой техникой и паллеты с консервами, а здесь — светящаяся смола, из-за которой тут жили и умирали. Суть от этого не менялась. Груз пришёл — груз ушёл, и кто-то в середине обязательно ворует.

Мерзляк сидел в конторке у самой большой весовой — тощий, сутулый, закутанный в два платка поверх кожуха, хотя от горнов за валом тянуло жаром и все вокруг ходили в одних рубахах. Руки у него были в цыпках, нос — синеватый, а глаза — быстрые, умные, испуганные, как у человека, который давно живёт в долг и каждый день ждёт, что долг придут взыскивать. Он взял у меня письмо Весовщика, сломал печать, прочёл — и я видел, как на третьей строке у него дёрнулся угол рта.

— Весовщик, — сказал он, сворачивая письмо. — Да. Должен я ему. Обоз у меня как-то пропал, три лета назад, вместе с жилой, которую он под меня занял. Он не взыскивал. Говорил: потом пригодишься. — Мерзляк поёжился, плотнее запахнул платок. — Вот, значит, и пригодился. Пишет — дать тебе работу, кров и не спрашивать лишнего.

— Дашь?

Он посмотрел на меня долго, мутно, и что-то в его взгляде мне не понравилось — не враждебность, нет. Жалость. Такая, какую испытывают к лошади, которую ведут мимо тебя на живодёрню.

— Дам, — сказал он. — Куда я денусь. Только я тебе скажу одну вещь, мастеровой, раз уж Весовщик за тебя просит и раз уж я ему должен. — Он понизил голос, хотя вокруг гремело так, что можно было орать. — Ко мне вчера приходили. Не от Весовщика. Чистый. Вежливый — до тошноты вежливый. Сказал, что придёт мастеровой с письмом с Развала. Сказал: возьмёшь. Возьмёшь, поставишь куда попросится, и не будешь спрашивать, кто он и зачем. И денег оставил, — Мерзляк кивнул на кожаный мешочек в углу, — за то, чтоб я тебя взял. Понимаешь? Мне заплатили, чтоб я сделал то, что и так должен был. — Он нервно хихикнул, будто подавился. — Я двадцать лет на этом дворе. Мне никто никогда не платил за то, что я и так сделаю. Это значит одно, мастеровой: ты кому-то наверху очень нужен. А кому наверху кто-то очень нужен, тот на этом дворе долго не живёт.

Он даже Весовщика предусмотрел, вежливый человек. Даже письмо, которое я нёс через всю равнину, оказалось у него в расчёте. Я почувствовал, как во мне поднимается что-то горячее и тяжёлое — не страх уже, а то, что приходит после страха. Ярость грузчика, которого гоняют по складу, не говоря, что и куда нести.

Я задавил её. Засунул поглубже, как засовывают в кузов тюк, который некуда девать. Пригодится.

— Ну, раз уплачено, — сказал я, — давай работу.

Мерзляк повёл меня по двору. Показал весовые, склады, помосты. Показал учётчиков — те записывали в свои дощечки, сколько пришло и сколько ушло, и через каждые полчаса сдавали дощечки писарю, а писарь сводил их в большую книгу. Я шёл за ним и смотрел — не на бочки, на движение. И через час уже видел то, чего не видел Мерзляк за двадцать лет.

Обоз с садка с ястребиным клеймом приходил по утрам, но весовая для него открывалась только к полудню, и бочки полдня стояли на солнцепёке, а жила в бочках на жаре теряла чистоту — я видел, как учётчик ставил ей вечером цену ниже утренней. Пандус у третьего склада был построен под таким углом, что телеги на нём буксовали, и каждую приходилось толкать вчетвером; два бревна снизу — и толкать хватило бы двоих. А на большой весовой, у которой сидел Мерзляк, гиря на два пуда была стёрта с одного бока — я видел это по тому, как она лежала на чашке, — и каждая бочка, которую на этих весах вешали «в казну», уходила чуть тяжелее, чем записывали. Самую малость. На бочку — горсть. На обоз — мешок. На декаду — целое состояние, которое тихо оседало у кого-то в кармане.

Я сказал Мерзляку про пандус. Про гирю промолчал. Про гирю было рано.

Он посмотрел на пандус, на меня, снова на пандус — и в первый раз за весь разговор в его испуганных глазах мелькнуло что-то, кроме страха. Интерес.

— Учётчиком пойдёшь, — сказал он. — На приход, к северным воротам. Будешь считать обозы, бочки и клейма. Вечером сдаёшь дощечку писарю. Кров — каморка за складом. Плата

— две меры в декаду. Меньше, чем ты стоишь, — добавил он, помолчав, — но больше мне не велено.

— Кем не велено?

Он не ответил. Он уже уходил к своей конторке, кутаясь в платки, — маленький, сгорбленный, мёрзнущий посреди жара человек, которому заплатили, чтобы он меня взял.

Я простоял у северных ворот до темноты. Считал обозы. Записывал клейма. Запоминал, откуда что приходит, куда уходит, кто принимает, кто подписывает. Руки сами делали знакомую работу, голова сама раскладывала грузы по полкам — и где-то на середине дня я поймал себя на том, что мне хорошо. Впервые с Развала — хорошо. Я был на своём месте. В своём ремесле. Тот, кто вписал меня сюда, рассчитал верно: здесь я не стану бузить. Здесь я буду считать бочки и радоваться, что умею это лучше других.

Именно это меня и напугало больше всего.

Блесна пришла, когда над Жильным двором уже зажгли жильные фонари — холодные, зелёные, на высоких шестах. Она нашла меня у моей новой каморки за складом — тесной, без окна, с топчаном и ведром — и привалилась к стене рядом, тяжело, как привалилась бы после целого дня в лесу.

— Ну? — спросил я.

— Ничего, — сказала она. — Никого. Я прошла посад насквозь три раза. Я прошла места, где в моё время чужого замечали с первого шага и ощипывали со второго. Никто за мной не шёл. Никто на меня не смотрел. — Она помолчала. — Посад меня не узнал. Почти. Двое узнали — бабка-травница с Косой и Сенька-Ухо, он теперь без второго уха. Сенька сказал: «Блесна? Тебя ж зарезали на Мокрой». Я сказала: не дорезали. Он засмеялся.

— А Сова?

— Жива. — Блесна сказала это так, как говорят о болезни, которая вернулась. — Держит посад, как держала. Всё через неё — краденое, жила без клейма, девки, долги. Я к ней не пошла. Я прошла мимо её двора и увидела, что у неё на крыльце сидит новый мальчишка. Лет девяти. С целыми пальцами. Пока.

Я нашёл в темноте её руку. Она не отняла.

— У тебя что? — спросила она.

Я рассказал. Про толпу, которая расступалась. Про телегу, которая отъехала. Про сторожа, который ждал. Про Мерзляка, которому заплатили за то, что он и так должен был сделать. Про работу учётчиком, плату, которую «больше не велено». Блесна слушала молча, и я чувствовал, как напрягается её рука в моей.

— Значит, так, — сказала она наконец. — Хвоста нет. За нами не ходят. Нам стелют. Комнату оплатили, работу дали, двери открыли. — Она коротко, зло засмеялась. — Знаешь, как в посаде ловят богатого дурака? Не за руку хватают. Ему подают. Девку, выпивку, игру. Ему стелют мягко, и он идёт, куда стелют, и сам радуется, какой он везучий. А в конце дороги его ждут с ножом. Мягко стелют — жёстко спать, подвес.

— Знаю, — сказал я. — Только эти не с ножом ждут.

— А с чем?

Я не знал. Я знал только то, что сказал Невод на гряде: меня пропускают вверх, потому что я иду туда, куда им надо. Но куда — я не знал. К кому — не знал. Что такого я должен для них найти в этом городе, чего они сами не могли найти веками, — не знал.

— Ещё одно, — сказала Блесна. — В посаде шепчутся. Старое, я его ещё девчонкой слышала, а теперь опять. Про колодцы. Что из колодцев иногда выходят не только твари. Что под городом есть другой город, старый, провалившийся, и в нём кто-то живёт. Тихие. Им носят еду к старым копрам и оставляют на ночь, а утром еды нет. И ещё — про тех, кто поёт. — Она запнулась. — Будто бы ночами, у самого глубокого колодца, у Горла, собираются люди и поют. Без слов. Тянут одну ноту. Кто их слышал, говорит — от этой ноты хочется лечь и не вставать.

У меня по спине прошёл холод. Я вспомнил Котёл. Обрыв. Ласковый, сосущий зов из-под дна, от которого хочется раствориться, лечь, перестать.

[Невод] Слышишь, Дэйв? — Тихо, без насмешки. — Тихие под городом. И те, кто поёт у Горла. Это не сказки. Я не знаю, кто они. Но я знаю ту ноту, про которую она говорит. Это его нота.

— Это не сказки, — повторил я вслух.

Блесна посмотрела на меня в темноте.

— Я так и думала, — сказала она. — Потому и рассказала.

Мы сидели у стены моей новой каморки, на краю огромного шумного склада, под холодными зелёными фонарями. Мимо проезжали последние телеги, перекликались сторожа. Где-то за валом медленно вращались колёса копров, и под ними ровно, низко, неумолчно гудела тонкая корка.

Я думал о вежливом человеке, которого никогда не видел. О том, как аккуратно он всё устроил: комната, работа, двери, даже моё ремесло — он вернул мне моё ремесло, как возвращают собаке её миску, чтобы сидела смирно и не скулила. Он рассчитал меня как груз: вес, габариты, куда поставить, чтобы не мешал. И, может быть, рассчитал верно.

Но в одном он ошибся. Он поставил меня на склад.

А на складе я видел всё. Что приходит, что уходит, кто подписывает и кто ворует. Он хотел, чтобы я сидел у северных ворот и считал бочки, довольный и смирный. А я буду считать не только бочки. Я буду считать его. Его двери, его телеги, его вежливых людей с деньгами. Каждую открытую передо мной дверь я теперь буду записывать в свою дощечку — как приход. И когда наберётся достаточно, я сведу баланс.

Склад всегда сходится. Рано или поздно. Если знаешь, где искать недостачу.

Глава 3. Жильный двор

За пять дней у северных ворот я узнал о Горловине больше, чем узнал бы за год, бродя по её улицам.

Склад не врёт. Люди врут, вывески врут, белая девушка на воротах врёт, а накладная — нет. Накладную можно подделать, но нельзя подделать поток: сколько пришло, откуда, когда, куда ушло. Если стоять у ворот достаточно долго и считать достаточно честно, поток сам расскажет тебе, как устроен город. Кто сильный, кто слабый, кто кому должен и кто у кого ворует.

Я считал честно. Каждое утро у северных ворот вставали обозы — с ястребиным клеймом, с подковой, с тремя волнистыми чертами, с колесом. Я записывал садки, бочки, вес, чистоту, а к вечеру уже знал, что ястребиный садок богатый и бестолковый, что подкова шлёт жилу мутную, но много, а три волнистые черты — самую чистую, только редко и под охраной. Я знал, что жилу из всех садков на Жильном дворе смешивают и переливают в бочки с единым клеймом — дугой над чертой, знаком «Нового Горизонта», — и что после этого никто уже не скажет, чья она была. Я знал, что корабли на пустырях уходят не когда попало, а по графику: каждые пять дней — большой, грузовой, на перевалочную; каждые два — малые, неизвестно куда. Я знал, сколько бочек влезает в большой корабль, и по тому, сколько бочек свозят на пустырь к его отлёту, мог сказать, полон он будет или пойдёт с недогрузом.

И ещё я знал то, что не записывал в дощечку.

По ночам, когда двор пустел и фонари на шестах горели вполсилы, к северным воротам дважды подходили крытые телеги. Без клейм. Без накладных. Возницы в тёмном молча показывали сторожу что-то в ладони, и сторож, тот самый, квадратный, с дубиной, отворял ворота, не спрашивая. Телеги проходили через двор насквозь, мимо весовых, мимо складов, не останавливаясь, — и уходили к третьему валу, в Верхний город, к гладкому серому зданию без швов. Я не видел, что под рогожей. Но я двадцать лет смотрел, как грузят фуры, и умел по осадке телеги, по тому, как она идёт на поворотах, сказать, что везут. Это был не жидкий груз

— бочки так не ложатся. И не мешки. Груз внутри был живой: телегу на поворотах чуть заваливало то влево, то вправо, будто то, что лежало под рогожей, само перекатывалось.

Я записал это в голове. Отдельной строкой. Без вопросов, как записывают недостачу, которую пока не время показывать начальству.

Мерзляк за эти дни стал со мной почти разговорчив. Пандус у третьего склада поставили на два бревна, и теперь телеги на нём толкали вдвоём, — а Мерзляку старшина склада нехотя отдал за это полмеры в декаду. Мерзляк пришёл ко мне вечером с кувшином браги, сел на топчан в моей каморке, кутаясь в свои платки, и долго молчал.

— Ты кто такой, мастеровой? — спросил он наконец. — Я тебя пять дней смотрю. Ты не мастеровой. Ты на двор смотришь, как я на счёты. Будто всю жизнь только этим и жил.

— Жил, — сказал я. — Там, откуда пришёл.

— А откуда ты пришёл?

— Издалека, — сказал я. И подумал: дальше, чем ты можешь себе представить, Мерзляк. С другой планеты. Из другой жизни, где я двадцать лет считал чужие коробки, а потом меня самого списали, как коробку.

Мерзляк кивнул, будто именно этого и ждал, и больше не спрашивал. Только перед уходом сказал, глядя в кувшин:

— Если тебе на дворе жмёт — у копров платят. На Третьем Кривом вторую декаду тварь ходит, никто не снимет. Старшина копра у меня жилу сдаёт. Скажу ему про тебя — возьмёт. — Помолчал. — Я тебе этого не говорил. Мне велено держать тебя у ворот. Но мне никто не велел держать тебя смирным.

Он ушёл, а я ещё долго сидел над его кувшином. Мерзляк был трусом, должником и, может быть, вором. Но в эту минуту он сделал то, что ему не заплатили сделать, — и это стоило больше любого вежливого мешочка с жилой.

Блесна, когда я ей рассказал, не стала спорить. Я ждал, что будет. Что она опять скажет про зов, про корку, про то, что надо сначала понять, куда нас пропустили. А она только спросила:

— Ночная, одна, восемнадцатого?

— Так на доске.

— На доске пишут, чтоб желающих было побольше. — Она подумала. — Иду с тобой.

— Блесна…

— Иду с тобой, подвес. Ты в колодце ни разу не был. А я в восемь лет за медяк лазила по таким за оброненным инструментом. Там внизу темно, тесно и всё светится. И там цепь. — Она посмотрела на меня. — Кто держит цепь, тот и решает, вернёшься ты или нет. Я буду держать цепь.

Старшину Третьего Кривого звали Дёготь — за то, что от него за версту несло смолой, которой он мазал блоки. Он был широкий, кривоногий, с обожжённой щекой, и разговаривать не любил. Выслушал, глянул на меня, на Блесну, на плевок у меня на плече.

— Двое уже спускались, — сказал он. — Один вернулся. Без руки. Говорит — белая. Длинная. Ног много. Сидит на шестом кольце, где жила гуще, и ждёт, когда бадья пойдёт. Бадью рвёт, жилу пьёт, а кто с бадьёй — того вниз тянет. — Он сплюнул. — Двадцать мер, как писано. Половину вперёд не дам. Вернётесь — дам всё. Не вернётесь — дам вашим, если есть кому.

— Некому, — сказал я.

— Тогда себе оставлю, — сказал Дёготь без улыбки. — Ночью спуститесь. Днём она глубже уходит.

Колодец Третий Кривой был шахтой — круглой, обложенной брёвнами, уходящей вниз кольцами. Через каждые два-три человеческих роста в стене был вырублен уступ-кольцо, а по центру, на толстой цепи, ходила бадья — большая, окованная, с решёткой по краю, — в

ней спускали людей и поднимали жилу. Жила текла по стенам шахты, сочилась между брёвен, капала с уступов, и чем ниже, тем гуще: на верхних кольцах — редкие светящиеся капли, на нижних — целые натёки, медленные, тягучие, светящиеся ровным зелёным. Внизу, на самом дне, которое терялось в свечении, был колодец в колодце: дыра в корке, откуда жилу и качали насосом с поверхности, по трубам.

Мы спустились в полночь. Я — в бадье, с плевком, ножом Первого и связкой факелов, которые здесь были не нужны: свет шёл от стен. Блесна — на верхнем кольце, у ворота, с Дёгтем: она держала тормоз цепи и сигнальную верёвку — дёрну раз, значит, стой, дёрну дважды, значит, тяни наверх что есть силы.

Чем ниже уходила бадья, тем громче становился гул.

Наверху, в городе, я слышал его костями — тихим, далёким, как трансформатор за стеной. Здесь он заполнял всё. Он шёл из стен, из жилы, из темноты подо мной, и с каждым кольцом становился не громче даже — ближе. Теснее. Будто я спускался не в шахту, а в чью-то гортань, и гортань эта дышала. На четвёртом кольце я понял, что дышу с ней в такт. На пятом — что мне не страшно. Совсем. Мне было… спокойно. Тепло. Хотелось сесть на дно бадьи, привалиться к решётке и закрыть глаза, и пусть цепь спускает меня сама, куда хочет, всё ниже, ниже, туда, где светло и тихо.

[Невод] Дэйв.

Строчка ударила, как пощёчина.

[Невод] Это он. Не тварь — он. Ты на пятом кольце, корка тут тонкая, как бумага. Подними руку. Сожми кулак. Скажи себе вслух что-нибудь злое. Сейчас.

Я поднял руку. Сжал кулак — так, что ногти впились в ладонь. И сказал вслух, хрипло, в гулкую светящуюся тесноту:

— Хрен тебе.

Тепло отступило. Не ушло — отступило на шаг, как отступает вода, чтобы потом нахлынуть снова. Я снова слышал скрип цепи, капель жилы, своё дыхание. И снова мне стало страшно — и я обрадовался этому страху, как старому другу.

[Невод] Вот так. Держи это. Злость — хорошо. Страх — хорошо. Всё живое — хорошо. Ему нужно, чтобы тебе стало спокойно. Не давай.

Бадья дошла до шестого кольца и встала — Блесна наверху держала тормоз, как уговорились. Я перелез на уступ. Здесь было светло, как днём: жила стекала по брёвнам сплошной пеленой, и в её свете всё казалось ненастоящим, зеленоватым, мёртвым. Уступ уходил по кругу шахты, широкий, в два шага, и за поворотом, в густой тени, где натёки жилы свисали с бревна, как сосульки, что-то было.

Я понял это не глазами. Тело поняло — то лесное, отлаженное тело, которое замирало раньше, чем я успевал подумать.

[Невод] Обнаружена тварь: Глубинник. Уровень 18.

Восемнадцатый. На два уровня тяжелее меня — и знакомее, чем мне хотелось бы.

Оно выползло из-за поворота медленно, спокойно, как выползает хозяин, которому некуда спешить. Бледное. Длинное, в полтора моих роста. Многосуставчатое, на дюжине тонких ног, которые переступали по брёвнам с сухим костяным шорохом. Безглазое: на месте головы — гладкий белый клин с узкой щелью рта, и из щели свисали светящиеся нити жилы, которую оно пило. Я видел такую тварь. Один раз. Семь декад назад — а мне казалось, что вечность, — в сердце первой Прорвы, когда она вынырнула из светящейся грязи и утянула под землю Малька, а Кряж держал меня, не давая прыгнуть следом.

Не та же. Та осталась в лесу, в своей Прорве. Но той же породы. Той же бледной, многоногой, безглазой породы, что живёт там, где корка тонка и жила течёт рекой.

Что-то во мне сорвалось с места — горячее, тяжёлое, чёрное. Малёк. Его лопоухая голова, его дрожащие руки, его «я не боюсь, я не боюсь», которое он твердил мне в последний

вечер. Его не было уже давно, а оно — было. Ползло ко мне по уступу, переступая дюжиной ног, и пило жилу из стены, будто ничего не случилось.

[Невод] Злость — хорошо. Но не дай ей тебя вести. Она быстрее тебя. И щупальца у неё длиннее, чем кажутся. Смотри на ноги, Дэйв. Не на голову.

Я смотрел на ноги. И увидел: тварь ставила их не как попало. Каждую — в щель между брёвнами, в стык, где крепче держит. Она шла по кругу шахты, как ходит по рельсам вагонетка, — по стыкам, только по стыкам. А там, где стык прерывался — где одно бревно сгнило и было наскоро заменено коротким обрубком, — она замедлялась, ощупывала, перехватывалась.

Из подручного хлама. Тело само знало, что делать, раньше головы.

Я отступил назад, к бадье. Тварь потекла за мной — не спеша, уверенно. Я дёрнул сигнальную верёвку — один раз: стой. Цепь натянулась, бадья замерла у края уступа. Я выдернул из-за пояса нож Первого, полоснул по креплению противовеса — плоского чугунного груза, который висел на отдельной цепи у бадьи и уравновешивал её на подъёме, — и груз, освобождённый, повис на одном крюке над тем самым гнилым обрубком.

Тварь подошла к обрубку. Остановилась. Начала ощупывать.

Я плюнул.

Не в неё — в крюк. Болт ударил в железо, крюк сорвался, и полтора пуда чугуна рухнули вниз — точно на гнилое бревно, на котором стояли передние ноги твари. Бревно треснуло и провалилось. Тварь дёрнулась, потеряла опору, повисла на задних ногах над пустотой, судорожно цепляясь за стыки, — и на миг, на один-единственный миг, вывернула ко мне брюхо. Мягкое, бледное, просвечивающее, с тёмным, медленно пульсирующим пятном посередине.

Я прыгнул. С уступа — на неё, на её дёргающееся тело, хватаясь за суставы, и вогнал нож Первого в это тёмное пятно. По рукоять. Провернул.

Она закричала — без звука, всем телом, — и сорвалась вниз. Вместе со мной.

Я успел. Не знаю как. Тело успело — отпустить её, развернуться в воздухе, выбросить руку. Пальцы нашли край нижнего уступа, седьмого, — скользкий от жилы, холодный, — и сжались. Меня рвануло так, что хрустнуло в плече. Мимо, в светящуюся глубину, беззвучно, переворачиваясь, летела бледная многоногая тень. Она падала долго. Я висел на одной руке над колодцем в колодце и смотрел, как она уменьшается, тает в свечении, — пока не исчезла совсем.

[Невод] Тварь повержена. Опыт засчитан.

[Невод] Уровень 17. Нераспределённого: 4.

Тепло пришло, как приходило всегда, — толчком, волной, от рук к сердцу. Мышцы налились, хрустнувшее плечо перестало кричать и только ныло. Я подтянулся на уступ — легко, легче, чем подтянулся бы минуту назад, — и лёг на спину на скользкое бревно, глядя вверх, на далёкое тёмное пятно устья шахты. Дышал.

А потом понял, что вместе с теплом пришло ещё кое-что.

Гул стал ближе. Не громче — ближе, как будто между мной и тем, кто гудел внизу, кто-то убрал одну перегородку. Одну тонкую стенку из многих. Я лежал на седьмом кольце и чувствовал его — уже не только костями, а чем-то ещё, тем, чему у меня не было названия: огромное, холодное, внимательное, бесконечно спокойное. Оно знало, что я здесь. Оно отметило, что я стал на уровень тяжелее. И ровно на один уровень ближе.

Спустись, — не сказало, а подумалось во мне, моим же голосом. *Ты же видишь, как тут светло. Как тепло. Тварь упала — и ей хорошо. Спустись и ты.*

— Нет, — сказал я вслух. Голос был хриплый, чужой. — Нет.

И дёрнул сигнальную верёвку. Два раза: тяни.

Цепь пошла вверх. Наверху застучал ворот. Я заполз в бадью, вцепился в решётку и ехал вверх, мимо светящихся колец, не глядя вниз, — и с каждым кольцом гул отпускал, отступал, становился снова далёким, снова трансформатором за стеной. Но я уже знал, что так, как

прежде, не будет. Невод был прав. Каждый уровень — ещё одна нить. Я стал сильнее — и он стал ближе. Я заплатил за свой семнадцатый не жилой и не кровью. Я заплатил за него тонкой стенкой между мной и бездной.

Наверху меня встретила Блесна. Она стояла у ворота белая, с закушенной губой, и, когда бадья вынырнула из устья, сгребла меня за ворот и выволокла на доски, не говоря ни слова. Потом долго держала, вцепившись, и я чувствовал, как её трясёт.

— Ты висел, — сказала она мне в плечо. — Цепь дёрнулась. Я думала, ты сорвался. Дёготь говорит — сорвался. Я держала. Я тормоз держала и думала: сейчас он дёрнет два раза. Сейчас. А ты всё не дёргал.

— Дёрнул же.

— Через вечность. — Она отстранилась, посмотрела мне в лицо и что-то в нём увидела. — Что там было, подвес?

— Глубинник, — сказал я. — Как тот. Из первой Прорвы. Который Малька… — Я не договорил. — Снял. Он упал вниз. Я — нет.

Она молчала. Потом тихо спросила:

— А ещё что?

Она всегда знала, что есть «ещё что».

— Он звал, — сказал я. — Тот, внизу. На пятом кольце. И потом, когда пришёл уровень. Сильнее, чем на равнине. Невод был прав, Блесна. С каждым уровнем — ближе.

Дёготь подошёл, глянул на меня, на пустую цепь, где больше не висел противовес, на оборванный крюк. Хмыкнул.

— Чугун мне вернёшь, — сказал он. — Или из платы вычту. — И впервые за весь вечер что-то похожее на уважение мелькнуло на его обожжённом лице. — Двадцать мер. Как писано. Ты, мастеровой, — где так научился?

— В лесу, — сказал я.

— В лесу, — повторил Дёготь, будто пробуя слово на вкус. — Ну-ну.

Он отсыпал жилу при всех, на весах у копра, и вокруг, несмотря на ночь, уже стояли люди — копровые, сторожа, двое бродяг, заснувших у тёплого ворота. Смотрели. Я видел, как они переглядываются, как шевелятся губы: снял. Глубинника на Третьем Кривом. Мастеровой с Жильного двора. К утру, я знал, об этом будут говорить у всех копров Горловины.

Ещё две декады назад это было бы для меня приговором. Тот, на кого смотрят, не может оставаться серым. А сейчас я стоял у копра, держа в руках двадцать мер жилы, и думал о другом. О том, что вежливый человек наверху, в гладком сером здании, уже знает. Что ему уже доложили: объект спустился в колодец, снял тварь восемнадцатого уровня, поднялся сам. Что он, может быть, кивнул и поставил у себя в списке ещё одну галочку. Пусть растёт. Пусть идёт. Пусть становится тяжелее — и ближе к тому, кто внизу.

Им тоже было нужно, чтобы я рос.

Я посмотрел на Блесну. Она смотрела на меня — и, кажется, думала о том же.

— Ну, — сказала она тихо. — Растём, подвес?

— Растём, — сказал я. — Только цепь теперь держим вдвоём.

Мы шли к Жильному двору под холодными зелёными фонарями, и где-то под нами, под мостовой, под складами, под всем огромным пересчитанным городом, ровно гудела тонкая корка. Я слышал её теперь чуть яснее, чем утром. На один уровень яснее.

И знал, что завтра услышу ещё яснее. Потому что завтра я пойду к следующему колодцу.

Глава 4. Нижний посад

К Сове Блесна решилась идти на седьмой день.

Она не сказала мне об этом прямо. Утром она просто вышла из нашей комнаты под петухом, где мы по-прежнему ночевали — назло вежливому человеку, за его же деньги, — посто-

яла на пороге, глядя вниз, туда, где за вторым валом кисли под мутным небом крыши Нижнего посада, и сказала:

— Пойдёшь со мной? Не на двор. Вниз.

— Пойду.

— Там тебя никто не знает. Там меня знают. — Она помолчала. — Плохо знают. Если что — молчи и делай тупое лицо. Это ты умеешь.

Нижний посад начинался сразу за вторым валом — там, где кончались склады Жильного двора и мастерские, а земля полого спускалась к Солёной канаве. Сначала шли дома как дома, из тёса, с крышами. Потом — лачуги из всего подряд: досок, рогожи, старых бочечных клёпок, листов железа, снятых с разбитых телег. Потом — уже не лачуги, а норы, вырытые в откосе канавы и прикрытые сверху чем придётся. Пахло здесь так, что я, двадцать лет проработавший на складе рядом с мусорным полигоном, через сотню шагов задышал ртом. Гнилью. Мочой. Дешёвой брагой. И жилой — мутной, нечистой, самой дешёвой, из тех, что берут с падали, — она горела в каждом очаге, и от этого весь посад был затянут зеленоватым чадом, сквозь который люди казались утопленниками.

Блесна шла по нему, как по своему двору. Не быстро, не медленно, не оглядываясь, ссутулив плечи, — и через десяток шагов я понял, что она *стала другой*. Не той Блесной, которую я знал, — бригадиршей, очистницей, лучшей добытчицей артели, бабой, которая держала меня над обрывом в Котле. Здесь она шла как зверёк, проживший на этих улицах полжизни: быстрые глаза из-под капюшона, руки у пояса, шаг мягкий, неслышный, готовый в любой миг сорваться в бег. Посад сам надел на неё её старую шкуру — и она в неё влезла, не заметив.

— Здесь я жила, — сказала она негромко, когда мы проходили мимо провала в откосе, прикрытого куском рваного паруса. — Год. С мамкой. Потом одна.

Я не спросил. Я ждал. Блесна никогда не рассказывала о себе, если её спрашивали. Рассказывала, только когда сама решала.

— Мы пришли сюда с факторий, с юга, — сказала она через сотню шагов, глядя прямо перед собой. — Мне было шесть. Мамка услышала про чистые сектора. Про белую девку на воротах. Новая жизнь, с чистого листа. — Она коротко засмеялась, без звука. — Она меня через всю равнину тащила, под эту белую девку. Год копила на отбор — его не за так проходят, за вход в контору платят. Скопила. Пошла. Её посмотрели, пощупали, спросили, чем жила, и сказали: негодная. Слабая грудь. В сектора не берут. Денег не вернули.

Она замолчала. Мы шли вдоль канавы, по скользким доскам, брошенным на грязь, и мимо нас, не глядя, проходили люди-утопленники в зелёном чаду.

— Она после этого перестала вставать, — сказала Блесна. — Лежала вон в той норе и смотрела в потолок. Я воровала ей хлеб на рынке. Она не ела. Зимой, в мокрую декаду, у неё началась горячка, и она умерла. Мне было семь. Я сидела с ней два дня, потому что не знала, что делать. На третий пришла Сова.

— Сова её знала?

— Сова знала всех. Сова и сейчас знает всех. — Блесна наконец посмотрела на меня. — Она пришла не за мамкой. За мной. Ей кто-то сказал, что у мёртвой бабы на Солёной девчонка с хорошими руками. Быстрыми, тонкими. Сова таких собирала. Мы ей таскали из чужих карманов, а она нас кормила. И учила. — Блесна подняла руку, свою кривую, неправильно сросшуюся руку, и посмотрела на неё. — Знаешь, чему она учила лучше всего, подвес? Тому, что руки у тебя — не твои. Руки — её. Ноги — её. Ты ешь её хлеб, значит, всё в тебе — её. И если её рукой ты украдёшь для себя — это ты украдёшь у неё.

Я молчал. Мне нечего было сказать.

— В четырнадцать я решила уйти, — сказала Блесна. — С обозом, в лес, куда угодно, лишь бы отсюда. Мне нужно было на дорогу. Я три декады таскала из чужих карманов для себя, прятала, копила, как мамка копила на свой отбор. Сова узнала. — Она сжала кривые

пальцы в кулак. — Она не кричала. Сова никогда не кричит. Она позвала меня на крыльцо, при всех, при всех её детях, и сказала: давай руки. Я дала. Я была дура, я думала — она отберёт деньги, ну, побьёт. А она взяла мои руки в свои и сломала мне пальцы. По одному. На правой — три. На левой — два. Медленно. Чтобы все видели. И сказала: «Это чтоб ты помнила, чьи у тебя руки».

Я остановился. Я не мог идти дальше. Я стоял посреди скользкой доски над Солёной канавой и смотрел на эти пальцы — кривые, с узловатыми суставами, которые на моих глазах сотни раз брали тончайшие пряди жилы, перебирали их, выпаривали, вытягивали из мутной дряни чистый янтарь. Лучшие руки артели. Самые тонкие руки, какие я видел на Эпсилоне.

— Я всё равно ушла, — сказала Блесна, останавливаясь рядом. Голос у неё был ровный, только чуть сиплый. — Через две декады, с переломанными пальцами, без денег. Прицепилась к обозу на Развал — год там крутилась, водоносам да очистникам подсобляла, все ходы облазила. А оттуда — с трапперами в лес. Пальцы срослись как срослись. Боцман в артели сказал: с такими руками только в кашевары. А я назло… — Она запнулась, и что-то в её лице дрогнуло. — Я назло научилась ими чистить жилу. Тоньше всех. Тоньше Сома. Каждый раз, когда я беру в пальцы прядь и чувствую, как она поддаётся, я думаю: мои. Мои руки, не её. Она сломала их, чтоб я помнила, чьи они. Я помню.

Я взял её за руку — за ту самую, правую, с тремя кривыми пальцами — и поцеловал костяшки. Прямо там, посреди посада, на скользкой доске над вонючей канавой. Она не отдёрнула. Только посмотрела на меня странно, будто впервые увидела.

— Светлый дурак, — сказала она тихо. — Пошли. Она близко.

Сова жила в самом сердце посада — там, где канава делала петлю и на мысу между двумя рукавами стоял единственный здесь настоящий дом: в два яруса, из тёсаных брёвен, с крыльцом под навесом и крепкой дверью. Вокруг дома толпились лачуги, а на крыльце, в широком кресле, обитом драной кожей, сидела она.

Я ожидал увидеть чудовище. Увидел старуху. Грузную, рыхлую, с отёкшими ногами в войлочных опорках и лицом, похожим на печёное яблоко. Один глаз у неё был мутный, бельмастый, второй — маленький, тёмный, живой, как у птицы. Вокруг крыльца копошились дети — пять, шесть, восемь, в лохмотьях, с быстрыми глазами, — и у ног старухи, на ступеньке, сидел мальчишка лет девяти, худой, белобрысый, с тонкими целыми пальцами. Блесна смотрела на эти пальцы. Только на них.

Сова увидела нас издалека. Она не шевельнулась, не изменилась в лице. Она просто ждала, пока мы подойдём, — так, как паук ждёт, пока муха сама допутается до середины паутины.

— Блеска, — сказала она, когда мы встали у крыльца. Голос у неё был низкий, хрипловатый, почти ласковый. — Живая. А мне Сенька сказал — тебя на Мокрой зарезали.

— Не дорезали, — сказала Блесна.

— Вижу. — Тёмный птичий глаз скользнул по ней сверху вниз — по рукам, по ножу у пояса, по лицу. — Выросла. Похорошела. В лесу, говорят, была. В артели у трапперов. Добытчицей. — Она сладко улыбнулась беззубым ртом. — С моими-то руками.

Блесна не дрогнула. Я видел, как напряглась её спина, как пальцы — те самые, кривые — легли на рукоять ножа и замерли там. Она не вынула нож. Она просто держала руку на рукояти.

— Кто про меня спрашивал? — сказала она. — Кто знал про ночлежку под петухом?

Сова не ответила. Она смотрела теперь на меня — долго, цепко, оценивающе, своим единственным живым глазом, — и я сделал то самое тупое лицо, которое Блесна велела мне делать. Лицо мастерового, которому всё равно.

— А это твой, — сказала Сова, не спрашивая. — Тот, что Глубинника на Третьем Кривом снял. Посад уже знает. — Она снова улыбнулась. — Вы, Блеска, шумные. В посаде так не живут. В посаде живут тихо.

— Кто спрашивал? — повторила Блесна.

Пауза. Дети у крыльца притихли. Мальчишка с целыми пальцами смотрел на Блесну снизу, во все глаза.

— Ты всегда была умная, — сказала Сова медленно. — Умная и быстрая. Лучшие руки, какие я выучила. Умных жалко, Блеска. Умные долго не живут. — Она помолчала. — Приходил человек. Вежливый. Чистый. Спросил, где ты ночевала девчонкой, когда тебе бывало худо. Я сказала. Он заплатил. Я и не таю. — Она пожала рыхлыми плечами. — В посаде нынче нет двери, которую он не купил. Тот, кто за вами ходит, ходит не ногами. Он ходит деньгами. И денег у него больше, чем у всего посада, у всего Жильного двора, у всей Горловины.

— Что ещё он спрашивал?

— Много чего. — Сова откинулась в кресле. — Что ты любишь. Чего боишься. Кому веришь. Кто тебе пальцы ломал. — Она вдруг коротко, хрипло засмеялась. — Про пальцы я ему тоже сказала. Он записал. Вежливо так записал, в книжечку. Как записывают, сколько мер в бочке. Он, Блеска, про тебя теперь знает больше, чем ты сама про себя помнишь.

Я смотрел на неё и видел то, чего не видела, может быть, сама Блесна. Сова врала не во всём — это было видно. Но и не всё говорила. И под её сладкой хрипотцой, под беззубой улыбкой, в глубине единственного живого глаза пряталось то, что я не ожидал там найти. Страх. Старуха, державшая посад сорок лет, боялась вежливого человека. Боялась так, как боятся силы, против которой не помогут ни ножи, ни дети с быстрыми руками, ни крепкий дом на мысу.

— Он вернётся, — сказала Блесна. Не спросила.

— Он и не уходил, — сказала Сова. — Он теперь везде. — И добавила тише, почти не разжимая губ, так, что услышали только мы с Блесной: — Уходи из Горловины, Блеска. Забирай своего Глубинника и уходи. Пока он тебе стелет мягко. Когда перестанет — будет поздно.

Блесна долго смотрела на неё. Потом медленно сняла руку с ножа.

Я не знаю, что было у неё в голове в ту минуту. Я знаю только, что она могла убить эту старуху — прямо там, на крыльце, при детях, одним движением, — и я бы не стал её останавливать. И она это знала. И не убила. Вместо этого она присела на корточки перед мальчишкой с целыми пальцами — тем, лопоухим, восьмилетним, что сидел на ступеньке, — и посмотрела ему в глаза.

— Как тебя зовут?

— Чиж, — прошептал мальчишка.

— Слушай меня, Чиж. — Блесна говорила тихо и очень отчётливо. — Руки у тебя — твои. Запомни. Не её, не чьи-то — твои. Что бы тебе ни говорили. Когда сможешь уйти — уходи. А если тебе кто-нибудь когда-нибудь скажет «давай руки» — беги. Не давай. Беги и не оглядывайся. Понял?

Мальчишка кивнул, не дыша.

Блесна выпрямилась и посмотрела на Сову сверху вниз — в первый раз за весь разговор сверху вниз.

— Тронешь его пальцы, — сказала она, — я вернусь. Не за тобой — за ним. И тогда твой вежливый человек тебя не спасёт.

Сова ничего не ответила. Только её живой глаз сощурился, и в нём на миг мелькнуло что-то — не злость даже, а что-то вроде старого, усталого уважения.

Мы ушли.

На обратном пути Блесна свернула к травнице на Косую — той самой бабке, что узнала её в первый день. Травница сидела в своей норе среди пучков сушёной травы и корешков и долго, подслеповато разглядывала Блесну, потом меня.

— Тихие, — сказала Блесна. — Те, что под городом. Им носят еду. Куда?

Травница перестала улыбаться.

— Зачем тебе, девка?

— Надо.

— Кому надо, тот туда не ходит, — сказала травница. — А кто ходит, тот молчит. А кто спрашивает… — Она поджала губы, помолчала, глянула на меня. Потом махнула рукой. — К Старому Бондареву. Что за Солёной канавой, на пустыре. Копёр там лет двадцать как бросили, колодец завалили. Туда носят — хлеб, вяленое, жилу в горшке. Ставят у сруба на закате. Утром горшки пустые. Кто берёт — не видал никто. — Она вдруг понизила голос. — И знак там, говорят, на бревне вырезан. Палочки какие-то. Кто знает, тот поймёт. Только ты, девка, не ходи. И мужика своего не пускай. Под городом не одни Тихие живут.

— А кто ещё?

Травница не ответила. Она отвернулась к своим корешкам, и мы поняли, что больше ничего не получим.

Вечером мы сидели на крыше нашей ночлежки, под облезлым петухом, и смотрели на город. Внизу горели жильные фонари Жильного двора, дальше — красные отсветы горнов, ещё дальше, за третьим валом, тёмная туша конторы. Над крышами медленно вращались колёса копров. Где-то там, за Солёной канавой, в темноте, стоял брошенный копёр, а у его сруба лежали пустые горшки.

Блесна сидела, обхватив колени, и долго молчала.

— Я не хотела сюда возвращаться, — сказала она наконец. — Никогда. Когда мы шли к Горловине, я всю дорогу думала: войду — и опять стану той девчонкой, которой сломали пальцы. И стала. Ты видел? Я по посаду шла, как тогда. Ссутулившись. Боялась. — Она помолчала. — А потом посмотрела на этого Чижа, на его пальцы, и поняла: нет. Я не та девчонка. Та девчонка давала руки. А я своих не отдаю.

— Ты его спасёшь? — спросил я.

— Не знаю. — Она покачала головой. — Может, нет. Может, Сова его сломает, как меня, и я ничего не успею. Но он теперь знает, что можно не давать. Мне никто этого не сказал. Мне пришлось самой понять. С переломанными пальцами.

Я обнял её. Она прислонилась ко мне — тёплая, живая, уставшая.

[Невод] Она сильнее тебя, Дэйв. — Строчка мелькнула тихо, когда Блесна закрыла глаза. — Ты знаешь это? Ты держишь «нет» против того, кто внизу. Она держала его против всего, что наверху, с семи лет. Без меня, без меток, без навыков. Просто держала. Я считаю всех на Эпсилоне. Таких — очень мало.

— Знаю, — сказал я вслух, тихо.

— Что? — пробормотала Блесна, не открывая глаз.

— Ничего. Невод говорит, ты сильнее меня.

Она фыркнула — устало, но с удовольствием.

— Наконец-то он сказал что-то умное.

Мы сидели на крыше, пока совсем не стемнело. Где-то за Солёной канавой, на пустыре, у брошенного копра, кто-то сейчас ставил на сруб горшок с хлебом. Где-то под городом кто-то ждал этого горшка. Где-то в гладком сером здании вежливый человек записывал в свою книжечку, что мы сегодня ходили к Сове, что Блесна не убила старуху, что мы были у травницы.

А может, он уже знал и про Старый Бондарев копёр. Может, он знал про всё. Сова сказала: тот, кто за вами ходит, ходит деньгами.

Но деньгами нельзя войти туда, где тебя не ждут. Под город, к Тихим, тот, кто ходит деньгами, сам не пойдёт. Он пойдёт за мной. Он подождёт, пока я найду туда дорогу, — и пойдёт следом.

Я смотрел в темноту за канавой и думал о том, что Невод сказал мне на гряде. Тебя ведут, потому что ты идёшь туда, куда им надо. Куда им надо — я не знал. А теперь, кажется, начинал догадываться.

Под городом жили Тихие. Те, кого никто не видел. Те, кто прятался так глубоко, что даже вежливый человек с его деньгами не мог до них добраться.

А я как раз собирался их найти.

Глава 5. Три чёрточки

Старый Бондарев копёр стоял на пустыре за Солёной канавой, там, где Горловина кончалась и начиналось то, что от неё оставалось.

Пустырь был кладбищем копров. Двадцать, тридцать лет назад здесь, видно, тоже качали жилу — пока колодцы не иссякли или не стали слишком опасными. Теперь от копров остались скелеты: почерневшие срубы, косые станины без колёс, ржавые цепи, вросшие в шлак, отвалы породы, поросшие бледным, светящимся по ночам мхом. Сюда не ходили. Даже посадские мальчишки, лазившие везде, обходили пустырь стороной, а взрослые, если приходилось идти мимо, сплёвывали через левое плечо.

Мы пришли туда за час до заката и залегли в развалинах ворота — дощатой будки, где когда-то крутили колесо. Блесна выбрала её сама: с трёх сторон глухие стены, с четвёртой — щель между досками, через которую был виден весь сруб Старого Бондарева, как на ладони. Мы лежали на гнилых досках, пахнущих смолой и мышами, и ждали.

Я думал о Вьюне.

Я носил его нож уже две с половиной декады — с самого дна Котла, рядом с ножом Первого, у себя на поясе. Узкое тёмное лезвие незнакомого металла. Рукоять из чего-то, что не было ни костью, ни деревом. У основания клинка — оттиснутый знак: три чёрточки, сходящиеся в точку, а вокруг — кольцо. И на рукояти, нацарапанное гаснущей рукой, одно слово: «Вьюн». А ниже, мельче, почти стёрто, будто он хотел написать больше и не успел: «нас семеро. были». А в сумке у меня, рядом с журналом Первого, лежали его пластины — с последними словами, выцарапанными иглой на дне Котла. «Не дай согласия, меченый. В этом „нет“ — всё». Последняя пластина обрывалась на полуслове.

Были. Я думал об этом слове все эти декады. Были — значит, больше нет? Или есть, но уже не семеро? Или он просто хотел сказать: нас было семеро, и я последний? Я не знал. И не надеялся узнать — до того вечера на крыше, когда травница сказала про палочки на бревне.

Солнца на Эпсилоне нет, но вечер есть: мутный зеленоватый свет густеет, тускнеет, наливается серым, и тени становятся длинными и мягкими. Когда тени на пустыре сравнялись с отвалами, из-за канавы показалась женщина. Немолодая, в платке, с корзиной. Она шла быстро, пригибаясь, то и дело оглядываясь, — так ходят туда, куда ходить нельзя. У сруба она остановилась, поставила на нижнее бревно горшок, накрытый тряпицей, рядом — свёрток, и тут же, не выпрямляясь, попятилась, сплюнула трижды через левое плечо и почти бегом пошла назад, к канаве. Ни разу не оглянулась на сруб.

— Боится, — сказала Блесна одними губами.

— Кого?

— Того, кому несёт. Или того, кто узнает, что носила. — Она помолчала. — В посаде так носят откуп. Не подарок — откуп. Чтоб не трогали.

Мы подождали, пока женщина скроется за канавой. Потом ещё подождали. Пустырь был пуст. Мох на отвалах начинал светиться.

— Пойду гляну, — сказал я.

— Подвес.

— Гляну и вернусь. На знак.

Она не стала держать. Только перехватила плевок поудобнее и легла к щели, глядя мне в спину.

Сруб Старого Бондарева был сложен из толстых почерневших брёвен, и колодец под ним действительно был завален — шлаком, породой, обломками досок, почти вровень с землёй. Горшок стоял на нижнем бревне, ещё тёплый; из-под тряпицы пахло похлёбкой. Я присел на корточки и стал смотреть на брёвна.

Знак нашёлся не сразу. Он был вырезан не на виду, а с той стороны сруба, что смотрела на отвалы, внизу, у самой земли, — там, где его увидит только тот, кто знает, что искать, и станет на колени. Неглубокий, давний, потемневший, но чёткий. Три линии, сходящиеся в точку. Кольцо вокруг.

Я вынул из-за пояса нож Вьюна и приложил рядом. Знак на клинке и знак на бревне были одинаковыми. Не похожими — одинаковыми, будто их резала одна рука или резали по одному образцу.

Я стоял на коленях перед почерневшим бревном, держа в руке нож мертвеца, и что-то сжималось у меня внутри — тяжело, горячо, почти больно. Он был отсюда. Вьюн. Человек, который дошёл до дна Котла, сказал «нет» и умер там, выцарапав свои слова для того, кто придёт следом, — он был отсюда. Из этого города. Из этой сети, у которой был свой знак, свои горшки на срубах, свои Тихие под землёй. Он был не один. И я, может быть, тоже был не один.

[Невод] Дэйв. Отойди от сруба. Медленно.

Я не отошёл. Я спрятал нож и вернулся в будку — медленно, как велел Невод, пустой походкой мастерового, который поглядел и ничего не увидел.

Мы ждали.

Ночь на пустыре была тише, чем в городе. Гул копров сюда почти не долетал, горны светили далеко, красным заревом над валом, а здесь светился только мох на отвалах — бледно, холодно, мертвенно, как светятся гнилушки. И под всем этим, под пустырём, под заваленным колодцем, ровно и низко гудела корка. Здесь она гудела чуть иначе, чем в городе. Глуше. Будто между мной и ею здесь было не дерево копра и не камень мостовой, а пустота. Много пустоты.

Я смотрел на горшок не отрываясь. Блесна — тоже. Мы сменяли друг друга: один смотрит, другой даёт глазам отдых, считая до двухсот. Ничего не происходило. Мох светился. Корка гудела.

На какой-то по счёту смене я открыл глаза, глянул в щель — и горшка не было.

Не было и свёртка. Нижнее бревно сруба было пустым, будто на нём никогда ничего не стояло.

— Блесна.

— Вижу. — Голос у неё был сиплый от злости. — Я смотрела. Я не моргала, подвес. Никто не подходил. Никто. Ни сверху, ни сбоку.

— Значит, снизу.

Мы переглянулись в темноте.

Я выбрался из будки первым. Блесна — следом, с плевком наготове. У сруба я опустился на четвереньки и начал ощупывать нижнее бревно, землю под ним, шлак. Пальцы нашли щель — узкую, между бревном и завалом, такую, в которую пролезла бы разве что кошка. Я надавил на шлак рядом — и шлак подался. Не весь завал — один пласт, сбитый на раму из жердей, прикрытый сверху породой. Под ним была темнота и холодный, сырой, тянущий снизу сквозняк.

Ход. Колодец был завален не до конца. Кто-то оставил в завале лаз — ровно такой, чтобы протиснуться человеку, — и прикрыл его крышкой из шлака.

— Нет, — сказала Блесна, прежде чем я открыл рот.

— Я только гляну.

— Ты это уже говорил. — Она схватила меня за рукав. — Травница сказала: под городом не одни Тихие живут. Ты слышал. И ты слышишь, как гудит. Там внизу — пустота. Под пустырём — пустота, подвес. Там целый город.

— Потому и надо глянуть.

Она смотрела на меня долго. Потом выругалась — длинно, зло, по-посадски, так, как я от неё ещё не слышал, — и сунула мне в руку конец своего шнура.

— Обвяжись. Дёрну раз — стой. Дёрну два — лезь назад, что бы там ни было. Не полезешь — сама за тобой спущусь, и тогда пеняй на себя.

Я обвязался. И полез.

Лаз уходил вниз круто, почти отвесно, потом выполаживался. Стены были из старых брёвен, обросших мхом и тонкими, едва светящимися нитями жилы. Пахло сыростью, плесенью и чем-то ещё — дымом? едой? — человеческим. Через два десятка шагов лаз вывел в ход — низкий, с крепью из почерневших стоек, уходящий в обе стороны в темноту. Здесь было тихо. Так тихо, что я слышал, как стучит у меня сердце и как шуршит, разматываясь за мной, Блеснин шнур.

На полу, в пыли, были следы. Свежие. Маленькие, узкие, будто от лёгкой обуви. Они вели влево.

Я пошёл влево.

Ход петлял. Крепь кое-где обрушилась, и приходилось протискиваться боком между упавшими стойками. Свет жилы на стенах то разгорался, то почти гас, и в темноте я шёл на ощупь, ведя ладонью по сырому бревну. Шнур за мной натягивался — я уходил всё дальше от устья. Ещё немного — и он кончится.

Я остановился на развилке, где ход расходился натрое, и наклонился к следам — понять, куда свернули.

Холодное, тонкое, острое легло мне на горло. Сзади. Беззвучно — я не услышал ни шага, ни дыхания.

— Стой, — сказал голос мне в ухо. Женский. Молодой. Злой. — Не шевелись. Руки от пояса.

Я убрал руки от пояса.

— Ты горишь, — сказал голос. — Понимаешь? Ты горишь, как фонарь на шесте. Мы видим тебя третий день — с тех пор как ты снял Глубинника на Третьем Кривом и вся Горловина про тебя заговорила. Мы видели, как ты прошёл ворота. Без пошлины. Без книги. Мы видели, как перед тобой расходится толпа, как убирают телеги. Ты не видишь? Весь город под тебя устроен. За тобой ходят не люди — за тобой ходит весь город. — Лезвие чуть надавило. — И ты привёл его к нашему горшку.

— Я не привёл, — сказал я. Голос вышел ровный, только хриплый. — Я пришёл сам.

— Это одно и то же.

Она была права. И я знал, что она права, ещё до того, как она это сказала.

— Я знаю, что меня ведут, — сказал я. — Я знаю, что мне расчищают дорогу. Я не знаю, кто и куда. Но знаю — зачем. Им нужно, чтобы я нашёл тех, кого они сами найти не могут.

Тишина. Лезвие не дрогнуло.

— Тогда зачем ты пришёл?

— Потому что я тоже вас ищу, — сказал я. — Не для них. Для себя. — Я помолчал. — Я знаю ваш знак. Три чёрточки в кольце. Он у меня на ноже. Я снял этот нож с мертвеца на дне Котла.

Лезвие на моём горле окаменело. Я почувствовал, как за моей спиной перестали дышать.

— Врёшь, — сказал голос. Но в нём что-то сломалось.

— У меня на поясе. Слева. Возьми сама.

Чужая рука — быстрая, тонкая, жёсткая — скользнула мне к поясу, нащупала рукоять, выдернула нож Вьюна. Я услышал, как она втянула воздух. Долго, со всхлипом, как втягивают его, когда бьют под дых.

[Невод] Она меченая, Дэйв. Строчка вспыхнула тихо, коротко. *Я слышу, как говорю с ней. Тише, чем с тобой. Коротко, по делу — как говорил с тобой в первые дни, в лесу. Я каждому из вас — свой.*

И сразу следом, ещё тише:

[Невод] Я чуял, что в Горловине вас больше одного. Чуял ещё с гряды. Я тебе не говорил. Ты горишь — она права. Я не мог привести тебя к ним. Прости.

Я стоял с лезвием у горла и чувствовал, как во мне поднимается злость на Невод — горячая, обиженная, детская. Он знал. Он знал и молчал. И тут же, следом за злостью, пришло другое — холодное, трезвое понимание. Он молчал правильно. Он молчал так, как молчал Сом, как велел молчать Первый. Он берёг их от меня. От фонаря, которым я стал.

— Это нож Вьюна, — сказал голос за моей спиной. Глухо, совсем другим тоном. — Где он?

— Не знаю, — сказал я. — Тела я не нашёл. Только сумку, нож и пластины — на дне Котла, под Развалом. Он дошёл до самого дна. Нулевой его звал — он писал об этом. Он писал на пластинах — для того, кто придёт следом. Для меченого. «Не дай согласия. В этом „нет“ — всё». Последняя пластина оборвана. — Я помолчал. — А на рукояти, под именем: «нас семеро. были».

Долгая, долгая тишина. Где-то в глубине хода капала вода. Лезвие медленно ушло с моего горла.

Я обернулся.

Она стояла в двух шагах — тонкая, невысокая, в тёмном, с капюшоном, сдвинутым на затылок. Молодая, лет двадцати. Рыжая — коротко, неровно остриженная рыжая голова, будто стриглась сама, ножом, в темноте. Острое лицо, веснушки, злые светлые глаза — и в этих глазах стояли слёзы, которых она не позволяла себе пролить. Она держала нож Вьюна обеими руками, прижав к груди, как держат что-то живое.

— Шесть лет, — сказала она. — Шесть лет назад он ушёл. Сказал — к Котлу, посмотреть, что там на дне, правда ли то, что говорит Ясная. Сказал — вернётся через декаду. — Она сглотнула. — Мы ждали. Я ждала. Мне было четырнадцать. Он меня из колодца вытащил, когда меня метка нашла, — меня бы чистые взяли, а он вытащил. Он меня учил. — Голос у неё сорвался. — А потом ушёл, и всё. Шесть лет. А ты приходишь с его ножом и говоришь…

Она не договорила. Отвернулась. Плечи у неё дёрнулись — раз, другой.

Я не подошёл. Я понимал: подойду — ударит.

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она резко обернулась. Слёзы уже были стёрты рукавом, глаза — сухие, злые.

— Тебе зачем?

— Я Дэйв. Подвес. Меченый. Как ты.

— Знаю, кто ты. — Она шагнула назад, в тень развилки. — Весь город знает. Ржа. Меня зовут Ржа. — И, помолчав, жёстко, отчётливо: — А теперь уходи. Наверх. И больше не приходи.

— Ржа…

— Слушай меня. — Она подняла нож Вьюна — не угрожая, показывая. — Нож я оставлю. Это его нож, это нам решать, кому он. Ты принёс — спасибо. А теперь уходи. Мы тридцать лет живём под этим городом, потому что не горим. Ни одна облава нас не нашла. Ни один чистый. Ни один вежливый человек с деньгами. Потому что мы не горим. А ты горишь. Ты придёшь ещё раз — с хвостом, а ты по-другому не умеешь, — и мы уйдём. Глубже. Туда, куда ты не дойдёшь. И горшки на срубах будут стоять пустые. Или я тебя убью. — Она помолчала. — Я не хочу тебя убивать. Ты принёс его нож. Но убью.

— А его слова? — спросил я. — Пластины. Они у меня. Он писал их не мне — тому, кто придёт. Вам тоже.

Что-то мелькнуло в её лице.

— Оставь у сруба, — сказала она. — Если захочешь. А сам — не приходи.

И исчезла. Не ушла — исчезла: шагнула в темноту правого хода, и я не услышал больше ни шага, ни шороха. Только где-то далеко, в глубине, капала вода.

Шнур у меня на поясе дёрнулся. Раз. Потом — два, резко, зло.

Я полез назад.

Наверху, у сруба, была Блесна. И не одна.

Она стояла, прижатая спиной к огромному человеку — я никогда не видел таких огромных людей, в полторы меня ростом и в два шириной, — который держал её одной рукой поперёк груди, а другой зажимал ей рот. Держал без злости, спокойно, как держат ребёнка, чтобы не кричал. Плевок валялся у её ног. А у меня перехватило горло, и я рванулся из лаза, ещё не выбравшись толком…

Великан посмотрел на меня. Лицо у него было тяжёлое, грубое, неподвижное, а глаза — неожиданно спокойные, почти печальные. Он медленно разжал руки, отпустил Блесну, сделал шаг назад — и, не сказав ни слова, нырнул в лаз мимо меня, быстро и бесшумно, как вода уходит в песок. Крышка из шлака встала на место.

Блесна стояла, тяжело дыша, и смотрела на завал.

— Он подошёл сзади, — сказала она. Голос у неё дрожал, но не от страха — от ярости. — Сзади, подвес. Я не услышала. Я! Не услышала! Я в лесу десять лет. Я слышу, как Пластун лапу ставит. А его — не услышала. Он подошёл, взял меня, как котёнка, и держал. И даже больно не сделал. — Она подобрала плевок, сжала так, что побелели кривые пальцы. — Что там было?

Я рассказал. Про ход, про следы, про лезвие у горла. Про Ржу. Про нож Вьюна. Про «ты горишь». Блесна слушала молча и, когда я кончил, долго смотрела на сруб.

— Значит, есть, — сказала она наконец. — Тихие. Меченые. Под городом.

— Есть. Тридцать лет. Ни одна облава не нашла.

— А ты нашёл.

— Я нашёл, — сказал я. — И они меня выгнали. Потому что, если я нашёл, — найдут и те, кто за мной.

Мы стояли на пустыре, среди скелетов мёртвых копров, под бледным светом мха. Где-то в городе, за канавой, горели горны. Где-то в гладком сером здании вежливый человек, может быть, уже читал донесение: объект провёл ночь на пустыре у Старого Бондарева копра. Объект спускался в завал. Объект вернулся.

А может, не читал. Может, они не знали. Может, я был не таким уж фонарём, как думала Ржа. Но рисковать было нельзя. Ни мне, ни им.

[Невод] Она права, Дэйв. Строчка мелькнула коротко. *И ты это знаешь. Пока ты горишь — ты к ним не дойдёшь. А если дойдёшь — приведёшь.*

Я знал.

Чтобы найти своих, мне нужно было перестать гореть. Погасить фонарь. Сбросить хвост, которого не видно, — хвост, который ходит не ногами, а деньгами, который не идёт за мной, а убирает передо мной двери.

Как погасить фонарь, который зажёг не ты?

Я не знал. Но, глядя на почерневший сруб с вырезанным у самой земли знаком, я вдруг поймал себя на мысли, от которой стало одновременно страшно и весело — той злой, рабочей весёлостью, какая бывает, когда наконец понимаешь, с какой стороны браться за неподъёмный груз.

Фонарь нельзя погасить. Но фонарь можно перенести. Туда, где тебя нет.

Глава 6. Горящий

Доказательство пришло через два дня, и принёс его Сенька-Ухо.

Он нашёл Блесну на рынке у Рыбьего ряда — сам нашёл, хотя она его не искала, — дёрнул за рукав и зашептал, озираясь, своим свистящим шёпотом человека, которому однажды отрезали ухо за то, что он слишком много слышал:

— Чистые на пустыре. За Солёной. Вчера и сегодня. По двое, по трое, с железом. Ходят меж копров, щупают срубы, в завалы светят. Двадцать лет туда ни один чистый не совался — а тут ходят. — Он облизнул губы. — Бабка Матрёна, что носила к Бондареву, вчера не понесла. Испугалась. Говорят, и другие не понесут. — Он посмотрел на Блесну хитро и испуганно разом. — Ты, Блеска, туда ходила. С мужиком своим. Посад видел. Посад всё видит.

Блесна дала ему медяк и ничего не ответила. А вечером рассказала мне — сухо, коротко, не глядя в глаза.

Я сидел на топчане в своей каморке за складом и слушал, и с каждым её словом во мне что-то оседало — тяжело, глухо, как оседает в бочке муть. Двадцать лет ни один чистый не совался на пустырь. Двадцать лет Тихим носили горшки к Старому Бондареву, и никто не видел, кто их забирает. Тридцать лет — ни одной облавы. А потом пришёл я. Одну ночь пролежал в будке, один раз спустился в завал — и через день по пустырю пошли чистые с железом.

Ржа была права. Я горел.

И даже Мерзляк, сам того не желая, подбросил дров. Наутро после пустыря он заглянул ко мне на северные ворота, покашлял в платок и сказал, будто между делом:

— К тебе ночью приходили. Спрашивали, когда вернулся. Я сказал — не знаю, я ночью сплю. — Он помолчал, кутаясь. — Мне не велено было ничего спрашивать, мастеровой, и я не спрашиваю. Но ты, это… ты там, где был, больше не будь. Тот, кто про тебя спрашивает, спрашивает вежливо. А от вежливых у меня зубы ноют.

Значит, знали. Не всё, может быть, — может, не знали про лаз и про Ржу, — но знали, что я ходил ночью туда, где двадцать лет никто не ходил. И этого хватило, чтобы послать туда людей. Я привёл их. Я, который двадцать лет таскал чужие грузы и знал, что на складе всё на виду, — я принёс фонарь прямо к чужому порогу.

[Невод] Не грызи себя, Дэйв. Это пришло, когда Мерзляк ушёл. *Ты не знал, насколько ярко горишь. Теперь знаешь. Это дороже, чем было бы не узнать.*

— Им от этого не легче, — сказал я тихо.

[Невод] Нет. Им — нет.

Горшки к Старому Бондареву больше не носили. Я узнал это от Блесны, а Блесна — от травницы. Тихие остались без еды. Из-за меня.

Я понимал, что не могу пойти туда снова. Не могу оставить у сруба пластины Вьюна — потому что, если я пойду к срубу, по моему следу пойдут и те, другие. Я сидел с этими пластинами в сумке, со словами мертвеца, предназначенными его своим, и не мог их отдать. Человек, который дошёл до дна Котла, выцарапал их для тех, кто придёт следом, — а я, тот, кто пришёл, нёс его слова, как чуму.

На четвёртый день после пустыря я пошёл на Седьмой колодец.

— Нет, — сказала Блесна, когда я ей сказал.

— Да, — сказал я. — Мне нужна сила, Блесна. И мне нужна жила — много, на то, что я задумал. И мне нужно делать хоть что-то, иначе я сойду с ума, сидя у северных ворот и считая бочки, пока Тихие под городом голодают.

— Седьмой — тот, где «двое не вернулись». «Плата — сколько скажешь». Знаешь, что это значит? Это значит, что старшина копра уже не надеется, что вернутся.

— Знаю.

Она смотрела на меня долго. Потом сказала, как тогда, у Третьего Кривого:

— Иду с тобой. Только в этот раз — не на ворот. Вниз. С тобой.

— Блесна…

— Ты висел на одной руке над колодцем в колодце, подвес. Один. Больше один не пойдёшь.

Старшиной Седьмого колодца была женщина — сухая, жилистая, с лицом, будто вырезанным из того же почерневшего дерева, что и сруб. Её звали Вдовой. Не по имени — по тому, кем она стала: Седьмой колодец забрал у неё мужа, а три лета назад — и сына.

— Он поёт, — сказала она, глядя мимо нас, в чёрное устье, над которым медленно вращалось колесо. — Колодец. Не всегда — когда голоден. Снизу голоса идут. Знакомые. Мой сын спустился за бадьёй, а снизу его отец позвал. Мой муж. Который восемь лет как в этом колодце лежит. — Она помолчала. — Сын пошёл на голос. Те двое, что после него, — тоже. Каждый слышал своего. Один — мать. Другой — брата, которого в переписи забрали. — Она наконец посмотрела на нас — сухими, выгоревшими глазами. — Там внизу не тварь. Там что-то, что знает, кого ты любил. Сколько скажешь — столько и заплачу. Только убей.

Мы спустились в сумерках. Вдвоём, в бадье, — я с плевком и ножом Первого, Блесна с силками и коротким тесаком. Цепь держала Вдова и двое её копровых. Сигнал был прежний: раз — стой, два — тяни.

Седьмой колодец был глубже Третьего Кривого. Намного. Кольца уходили вниз одно за другим, жила на стенах густела, гул поднимался навстречу, и на четвёртом кольце я снова почувствовал то знакомое, ласковое, тёплое — лечь, привалиться к решётке, закрыть глаза. Я сжал кулак. Блесна, не глядя, нашла в темноте мою руку и стиснула. Тепло отступило.

На шестом кольце мы услышали голос.

— Дэйв.

Я замер. Голос шёл снизу, из светящейся глубины, глухой, хрипловатый, со стариковской одышкой. Голос, который я не слышал с того дня, когда он сказал мне на руках: «Долг закрыл. Живи серым. Береги своих».

— Дэйв, — сказал Сом снизу. — Спускайся, дурья башка. Тут тепло. Тут не болит. Я тут, парень. Я тебя жду.

Я перестал дышать.

[Невод] Это не он. Строчка ударила резко, почти криком. *Дэйв, это не он. Сом лежит на пригорке у артели, ты сам его закапывал. Это тварь. Она берёт голос у тебя из головы — из твоей же памяти. Как он, внизу, берёт твою усталость и зовёт её покоем. Только мельче. Не слушай.*

Я знал, что это не он. Я знал. И всё равно у меня дрожали руки.

— Дэйв! — сказал снизу другой голос. Тонкий, мальчишеский, ломкий. — Дэйв, я тут. Я не боюсь, правда. Мне тут хорошо. Спустись, я тебе покажу…

Малёк.

Я вцепился в решётку бадьи так, что хрустнули суставы. Внизу, в светящейся глубине, голос Малька засмеялся — тем самым смехом, которым он смеялся, когда у него впервые получилось высечь искру, — и позвал снова. И снова. Он просил. Он звал меня по имени. Он был там, внизу, — живой, весёлый, не утащенный бледной тварью, — и нужно было только спуститься на одно кольцо, на два…

— Подвес, — сказала Блесна. Голос у неё был странный. Не её. Высокий, тонкий, как у ребёнка.

Я обернулся.

Она стояла у решётки бадьи и смотрела вниз. Лицо у неё было белое и спокойное — то самое пустое, блаженное спокойствие, которое я видел на лице Писаря у ручья жилы в Котле. Губы у неё шевелились.

— Мамка, — сказала Блесна. — Это мамка. Слышишь? Она меня зовёт. «Блеска, доченька, иди ко мне». Она меня так звала. Она не умерла, подвес, она тут, внизу. — Блесна перекинула ногу через решётку. — Я сейчас. Мамка, я сейчас…

Я схватил её. Обеими руками, поперёк груди, — так, как она держала меня в Котле над обрывом, — и рванул назад, в бадью. Она билась. Она царапалась, кусалась, кричала тонким детским голосом: пусти, это мамка, пусти! — и я держал. Держал и кричал ей в ухо, перекрикивая голоса снизу, перекрикивая Сома и Малька, и её мамку, и всё это ласковое, тёплое, сосущее:

— Своих не отдаю! Слышишь?! Своих не отдаю! Ты мне это сказала! Ты меня держала! Теперь я держу!

Она обмякла. Разом, как обмякает ребёнок, наплакавшись. И я почувствовал, как она дышит — часто, мелко, по-настоящему. Своим дыханием.

— Подвес, — прошептала она своим голосом. Хриплым, злым, живым. — Я… это была не мамка.

— Нет.

— Я знала. Я знала и всё равно…

— Я тоже, — сказал я. — Мне Сом звал. И Малёк.

Мы стояли в бадье на шестом кольце, вцепившись друг в друга, а снизу звали голоса. Всё громче, всё ласковее, всё нетерпеливее. Тварь была голодна. Тварь чуяла, что добыча близко, что вот-вот шагнёт.

— Где она? — спросила Блесна. Голос её уже был прежним — злым, рабочим. — Голоса откуда идут?

Я прислушался. Не к словам — к звуку. Так слушают мотор, чтобы понять, где стучит. Голоса шли снизу — но не со дна. С восьмого кольца. Оттуда, где в стене шахты темнел провал — то ли обвал, то ли старый боковой ход.

[Невод] Обнаружена тварь: Голосник. Уровень 20.

— Восьмое кольцо, — сказал я. — Боковой ход. Сидит там и зовёт. Ждёт, пока сами придут.

Блесна вытерла лицо рукавом. Посмотрела вниз. Потом на меня. И в её светлых глазах я увидел то, что видел в лесу, в артели, на Развале, — холодную, тонкую, злую мысль добытчицы, которая уже знает, как взять зверя.

— Он ждёт, что придут на голос, — сказала она. — Значит, придём. Только не те, кого он ждёт.

Мы спустились на седьмое кольцо. Бадья встала — Вдова наверху держала цепь. Блесна размотала свой шнур, привязала к нему мой старый плащ, набитый ветошью, — пугало, кукла, — и спустила его на шнуре вниз, к восьмому кольцу, к провалу бокового хода, раскачивая так, будто кто-то спускается по стене, неуверенно, наощупь. А сама осталась у края, со шнуром в руках. Я лёг рядом, положив плевок на бревно, ствол — в сторону провала.

Голоса стали громче. Радостнее. Мама. Сом. Малёк. Все разом, наперебой, как зовут, когда наконец дождались.

Из провала потянулось что-то бледное.

Сначала — нити. Тонкие, светящиеся, как те, что свисали изо рта Глубинника. Потом — то, из чего они росли: белёсое, перепончатое, растянутое на стенах бокового хода, как паутина, как огромное лёгкое. По всей его поверхности, как пузыри на коже, открывались и закрывались отверстия — дыры, горла, рты, — и из каждого шёл голос. Из одного — Сом. Из другого — Малёк. Из третьего — тонкое «доченька». Оно было — сплошные горла. Ни глаз, ни лап. Только перепонка, нити и сотни ртов, которые умели звать.

Нити потянулись к кукле. Обвили. Потащили в провал.

— Сейчас, — сказала Блесна.

Она дёрнула шнур — резко, на себя, — и кукла, обмотанная нитями, рванулась вверх, а вместе с ней из провала, не успев отпустить добычу, вывернулся край перепонки. Белый, натянутый, с тёмным, медленно пульсирующим узлом в середине, где сходились все нити.

Я плюнул. Болт вошёл в узел. Перепонка содрогнулась вся разом — и сотни горл закричали. Не голосами Сома и мамки — своим собственным голосом, страшным, пустым, нечеловеческим, — и от этого крика задрожали брёвна в стенах шахты. Я выпустил второй болт. Третий. Блесна держала шнур, не давая перепонке уползти обратно, и её кривые пальцы побелели на шнуре, и она держала. Четвёртый болт. Узел лопнул, плеснув жилой.

Крик оборвался.

Перепонка обвисла, как парус в безветрие, и медленно, тяжело сползла по стене вниз, в светящуюся глубину. Нити отпустили куклу. Горла закрылись. В шахте стало тихо — так тихо, что я слышал, как капает жила с бревна.

[Невод] Тварь повержена. Опыт засчитан.

[Невод] Уровень 18. Нераспределённого: 5.

Тепло накатило, как всегда, — и я снова почувствовал, как вместе с ним что-то сдвинулось внизу. Ещё одна стенка. Ещё одна тонкая перегородка между мной и тем, что гудело под коркой. Восемнадцатый. На уровень сильнее — на уровень ближе. Я сжал кулак и сказал тихо, в бревно: нет. И тепло стало просто теплом.

Рядом Блесна вдруг судорожно вздохнула и замерла.

— Шестнадцатый, — сказала она шёпотом, сама себе, будто не веря. — Подвес. Шестнадцатый.

— Поздравляю.

— Дурак. — Она засмеялась — коротко, нервно, со слезами. — Я десять лет на один уровень ползла. А тут — тварь с маминым голосом. — Она помолчала, глядя вниз, туда, куда сползла перепонка. — Это была не мамка. Но знаешь… я её голос забыла. Совсем. Семнадцать лет не помнила, как она меня звала. А эта тварь — вспомнила. Из моей же головы вытащила. — Она вытерла глаза. — Убила, а теперь и спасибо сказать некому.

Я обнял её. Мы сидели на седьмом кольце, в светящейся тишине, обнявшись, — два человека, которых только что звали их мёртвые, — и не говорили ничего.

А потом из провала на восьмом кольце, из бокового хода, где только что висела перепонка, вышла Ржа.

Она вышла спокойно, будто стояла там давно и ждала, пока мы закончим. С ножом Вьюна у пояса. Остановилась на краю восьмого кольца, под нами, и задрала голову.

— Голосник, — сказала она. — Пять лет здесь сидел. Троих наших забрал. Один — мой учитель, после Вьюна. Пошёл на голос жены. — Она помолчала. — Мы этот ход бросили. Обходили колодец три лета. А ты пришёл и снял.

— Ты за мной ходишь, — сказал я. Не спросил.

— Мы за тобой ходим. Под землёй. Здесь твоих вежливых нет. — Она криво усмехнулась. — Колодцы, подвес, — это не только дырки, из которых качают жилу. Это дороги. Все колодцы Горловины внизу сходятся в старый город. Мы по ним ходим тридцать лет. А чистые сюда не лезут: тут корка тонкая, тут их приборы слепнут, а голоса поют. — Она посмотрела на Блесну, потом снова на меня. — Видел пустырь? Видел, кто туда пришёл после твоей ночи?

— Видел.

— Вот. Горишь. Мы ушли с Бондарева. Горшков больше нет. Там, где ты прошёл, нам больше не жить.

— Знаю, — сказал я. И полез в сумку. Достал пластины Вьюна — тонкие, тёмные, выцарапанные иглой, — завёрнутые в тряпицу. Протянул вниз, через край кольца. — Здесь меня не видно. Ты сама сказала. Возьми. Он их писал для вас.

Ржа смотрела на свёрток долго. Потом подошла к самой стене, встала на цыпочки, взяла. Развернула край тряпицы, глянула на верхнюю пластину — и я увидел, как у неё дрогнуло лицо.

— Его рука, — сказала она тихо. — Он всегда «ж» так писал. Хвостом вниз. — Она завернула пластины, прижала к груди, рядом с ножом. — Шёпот прочтёт.

— Кто это — Шёпот?

Она не ответила. Отступила в тень провала. И уже оттуда, из темноты, сказала:

— Спасибо за Голосника. И за слова. — Пауза. — Но к нам не ходи. Пока горишь.

— Я перестану гореть, — сказал я.

Из темноты донёсся короткий, злой смешок.

— Не перестанешь. Такие, как ты, не гаснут. Тебя видно сверху, снизу, со всех сторон.

— Тогда я перенесу огонь, — сказал я.

Тишина.

— Это как? — спросила темнота. Впервые — не зло. С интересом.

— Увидишь, — сказал я.

Но она уже ушла. Боковой ход был пуст.

Мы поднялись наверх в полной темноте — фонари на копре погасили, только колесо скрипело, наматывая цепь. Вдова стояла у ворота с двумя своими копровыми и, когда бадья вынырнула из устья, ничего не сказала. Только посмотрела на нас — на меня, на Блесну, на наши лица, — и что-то в её выгоревших глазах дрогнуло.

— Голоса, — сказала она. — Слышали?

— Слышали.

— Чьи?

— Своих, — сказал я.

Она кивнула. Отвернулась. И долго стояла спиной к нам, глядя в чёрное устье, где больше ничего не пело. Потом обернулась и отсыпала жилы — не торгуясь, сколько мы назвали, и сверх того ещё. Много. Больше, чем я рассчитывал.

— За сына, — сказала она. — И за мужа. Чтоб больше никого не звало.

Я шёл к Жильному двору с полной сумкой жилы и пустой головой, а рядом молча шла Блесна, и наши руки то и дело сталкивались в темноте. Восемнадцатый. Шестнадцатая. Голоса мёртвых, оставшиеся внизу, в шахте. Пластины Вьюна — у своих. И одна мысль, которая уже не отпускала меня с той самой минуты, как я сказал Рже: «перенесу огонь».

Меня видно сверху и снизу. Хорошо. Тогда пусть видят. Только не меня.

Мне нужен был второй я. Груз, который пойдёт по одной накладной, но двумя машинами. Одна — на виду, с фонарём, с открытыми дверями и вежливыми людьми, которые расчищают ей дорогу. Другая — тихо, без огней, туда, куда надо мне.

На складе это называют подменой. За это сажают.

А здесь, может быть, за это я наконец доберусь до своих.

Глава 7. Ложный груз

Двойника нашёл Мерзляк. Сам того не зная.

— Хрящ, — сказал он, когда я спросил, нет ли на дворе грузчика моего роста, с бородой, с долгами и без особого желания жить честно. — Вон он, у третьего склада, бочку катит. Должен половине двора. Жене — алименты, сыну — лекаря, кабаку — всё остальное. — Мерзляк покосился на меня поверх платка. — Тебе зачем?

— Поговорить.

— Поговорить, — повторил Мерзляк. И отвернулся. — Я не слышал.

Хрящ и правда был похож на меня. Не лицом — лицом он был грубее, с перебитым носом и мутными от браги глазами, — а всем остальным, что видно издали: рост, плечи, борода, сутулость человека, который всю жизнь что-то таскал. Сзади, в моём плаще, с моей сумкой через плечо и с обмотанным тряпьём свёртком на ремне, который издали сойдёт за плевок, — сзади нас бы и Блесна перепутала. Я это проверил: поставил Хряща у ворот спиной, в своём плаще, и позвал Блесну. Она остановилась в десяти шагах, прищурилась — и выругалась.

— Сзади — ты, — сказала она. — Пока не повернётся.

— Ему не надо поворачиваться.

Хрящ слушал нас, моргая, и я видел, как в его мутных глазах борются страх и жадность. Жадность победила, когда я высыпал перед ним на топчан треть того, что заплатила нам Вдова. Он столько не видел за всю жизнь.

— Что делать-то? — спросил он хрипло.

— Ничего, — сказал я. — Быть мной. Два дня.

План был складской. Самый старый приём, какой я знал, — я видел его в жизни раз десять, и раз пять за него сажали. Груз идёт по одной накладной, но двумя машинами. Одна — по маршруту, на виду, с документами, с пломбами, со всем, что положено. Другая — тихо, без огней, куда надо. Пока все смотрят на первую, вторая уходит.

Через два дня с Жильного двора уходил обоз — двенадцать телег порожних бочек в садок с подковой, за жилой. Обозу полагался учётчик-сопровождающий: считать бочки туда, считать жилу обратно, подписывать на весах. Мерзляк, не глядя мне в глаза и ни о чём не спрашивая, вписал в накладную сопровождающим «учётчика Подвеса». Хрящ поедет в моём плаще, с моей сумкой, с ненастоящим плевком. А рядом с ним, на передней телеге, поедет баба с битыми пальцами.

— Нет, — сказал я Блесне, когда она это предложила.

— Да, — сказала она. — Они ждут двоих. Мужика при плевке и бабу с пальцами. Так и Сова говорила, и бабка в ночлежке. Без меня твоя подмена — просто пьяный Хрящ в чужом плаще. Со мной — это мы.

— Ты уедешь из города с человеком, которого корпорация примет за меня. Если они решат меня взять — возьмут вас обоих.

— Они не берут, подвес. Они ведут. — Она посмотрела на меня твёрдо. — Ты сам это сказал. Им нельзя тебя трогать. Значит, и тех, кого они принимают за тебя, тоже. Самое безопасное место в этом городе — рядом с тобой. Даже если ты — Хрящ.

Я спорил ещё долго. И проиграл, как проигрывал ей всегда.

[Невод] А ведь она права. Это пришло, когда Блесна ушла собираться. *Ты просто не любишь, когда она рискует вместо тебя.*

— Не люблю, — сказал я вслух.

[Невод] Привыкай. Она не любит этого ещё дольше тебя.

Куда спрятаться самому, мы решили вместе. Блесна знала в посаде место — старую красильню на Синей, у самой канавы, брошенную лет десять назад, когда хозяин утонул в собственном чане. Там была каморка под крышей, сухая, с выходом на две стороны, — она пряталась там девчонкой, когда Сова искала её для порки. Я должен был отсидеться там день, пока обоз уводит за собой хвост, а ночью — спуститься в Седьмой колодец, к боковому ходу, где Ржа выходила ко мне из темноты. Вдова пустит. Вдова теперь пустила бы меня куда угодно.

Перед самым выходом, в предрассветной темноте каморки за складом, я пересчитал себя.

[Невод] Уровень 18. Нераспределённого: 5.

Пять очков. Я подержал их в голове, как держат в ладони монеты перед тем, как опустить в автомат. Вложи три в восприятие — и, может, начнёшь видеть то, чего не видишь сейчас: невидимых людей, которые расчищают тебе дорогу. Может, наконец разглядишь хвост.

А может, и нет. Хвост, который ходит деньгами, глазами не увидишь. Сколько ни вкладывай.

Я не стал тратить. Привычка скупца — или чутьё. Ещё не время. Я почему-то знал это так же твёрдо, как знал, что гиря на большой весовой стёрта с одного бока.

Обоз ушёл на рассвете.

Я смотрел на это с крыши старой красильни — дальней, но высокой, откуда в просвет между складами было видно северные ворота Жильного двора. Двенадцать телег, порожние

бочки, возницы. На передней — двое. Мужик в моём плаще, сутулый, с сумкой через плечо и обмотанным свёртком на ремне. И рядом — тонкая фигура в капюшоне. Блесна сидела так, как сидела всегда: чуть боком, чуть позади, читая не дорогу, а того, кто рядом. Даже отсюда я видел, как она держит руку у пояса.

Ворота открылись. Сторож — квадратный, с дубиной — глянул на переднюю телегу и махнул рукой. Не стал смотреть накладную. Не стал пересчитывать бочки. Обоз прошёл насквозь, как прошёл когда-то я под белой девушкой.

А на стене, над воротами, стоял человек. Я не видел его лица — далеко, — только тёмную фигуру на фоне мутного неба. Когда обоз прошёл, фигура подняла руку и что-то сделала — не знак, не взмах, а будто поправила шапку. И ушла со стены.

Я лежал на крыше красильни и чувствовал, как у меня в груди медленно, тяжело разжимается кулак, сжатый с самого пустыря. Сработало. Они смотрели на обоз. На плащ, на сумку, на свёрток, на бабу с пальцами. Они вели обоз — значит, не вели меня. Впервые с гряды над Горловиной на меня никто не смотрел.

Я пролежал на крыше до полудня. Потом спустился в каморку, съел хлеб, попил воды и лёг на старую рогожу — ждать ночи. И впервые за много дней уснул глубоко, без снов, как спят люди, у которых наконец отняли фонарь.

Проснулся я от того, что кто-то тихо скрёбся в дверь.

Был вечер. Мутный свет в щелях кровли посерел. Я лежал не дыша, с ножом Первого в руке, и слушал. Скрёбся кто-то маленький. Потом под дверь просунулось что-то белое, сложенное вчетверо. Шаги — лёгкие, детские — простучали по лестнице вниз и стихли.

Я долго не подходил. Потом подошёл. Поднял.

Лист был плотный, белый, гладкий — такой бумаги я не видел на Эпсилоне ни разу: здесь писали углём на лоскутах, иглой на пластинах, пером на сером рыхлом листе из коры. А это была настоящая бумага. Земная. Ровная. И почерк на ней — ровный, острый, аккуратный, как в бухгалтерской книге.

«Ход хороший. Подмена — старый приём экспедиторов; я читал о нём в ваших земных учебниках по логистике, когда изучал ваше досье. Признаю: пять часов я не знал, где вы. Это много. Это больше, чем удавалось кому-либо за последние двадцать лет.

Но я считаю лучше.

Обоз вернётся послезавтра. Вашей спутнице и вашему двойнику ничего не угрожает — передайте Хрящу, что жилу он может оставить себе: он её заработал. Не тратьте больше жилу на двойников. Она вам пригодится в колодцах — вы ведь собираетесь расти.

Красильня на Синей, кстати, — очень плохое место. Про неё знала ещё одна женщина в посаде. Вы же понимаете какая.

С уважением — В.»

Я перечитал записку трижды. Потом сел на рогожу, держа её в руках, и долго смотрел на ровные острые буквы.

Он знал. Не сразу — пять часов он не знал. Пять часов я был невидим. А потом он нашёл меня. Не по следу, не по хвосту — по Блесниному прошлому. Сова знала про красильню, как знала про ночлежку под петухом. Сова продала ему всё, что знала о Блесне, а Блесна, сама того не желая, привела меня в одно из своих старых убежищ. Подмена сработала. Провалилось место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.